

# Пленарнае пасяджэнне

---





**Юрий Лабынцев (Москва)**

**РУССКАЯ ЭЛИТА ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ И КУЛЬТУРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ БЫВШЕГО ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО:  
Научные искания профессора И. Даниловича**

Европейское культурное пространство в начале XIX столетия значительно изменило свои очертания. Собственно западная культура оказалась перемещенной далеко на восток и северо-восток континента, за границы империи Третьего Рима, новая столица которой, Петербург, стала успешно соперничать с “главным городом мира” — покоренным в 1814 г. войсками России наполеоновским Парижем.

Политические реалии эпохи, разделя Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и Россией, наполеоновские войны, включение западных земель бывшего Великого Княжества Литовского, Русского, Жемайтского в состав Герцогства Варшавского, а затем Царства Польского, необычайно либеральная по всем европейским меркам Конституция Царства 1815 г., утвержденная Александром I, создавали фон всех иных социальных событий, происходивших тогда да и значительно позднее в этой части Европы. К исходу XVIII столетия ситуация здесь сложилась таким образом, что по всем стандартам международного права А. Пушкин и А. Мицкевич оказываются соотечественниками, уроженцами одного государства.

Это обстоятельство наложило больший или меньший отпечаток на судьбы обоих поэтов, а также многих сотен тысяч иных подданных Российской империи, русская элита которой всегда проявляла немалый интерес ко всему, что было связано с бывшим Великим Княжеством Литовским.

В пушкинскую пору интерес этот в большинстве своем носил, так сказать, служебно-государственный характер, в том числе и в сфере социально-культурной. Однако уже тогда, даже в среде высшей русской аристократии, появились люди, которые живо и с огромным энтузиазмом изучали культурное наследие народов бывшего Великого Княжества Литовского. Именно таким человеком оказался государственный канцлер граф Н. Румянцев, сыгравший выдающуюся роль не только в собирании и исследовании памятников белорусской духовной культуры, но и возникновении белорусоведения как науки<sup>1</sup>.

Ему же, Н. Румянцеву, а также ряду других представителей русской элиты пушкинской поры, из которых мы упомянем лишь двух — знаменитого графа М. Сперанского и сенатора М. Балугьянского, близких друзей и знакомых А. Пушкина, предстояло оказать огромное влияние на жизнь

замечательного исследователя письменных памятников народов Великого Княжества Литовского профессора И. Даниловича.

В наши дни имя И. Даниловича, о котором в пушкинскую пору могли сказать и, в лучшем случае, говорили: “genthe Rutheni, natione Poloni”, становится все более и более известным в Беларуси, Украине, Литве и Польше. А совсем недавно, летом 1998 г., Белорусское научное общество в Польше провело специальную научную конференцию, посвященную ученому, и воздрузило памятный крест на могиле его отца.

Будущий профессор Игнат (Игнатьй) Николаевич Данилович родился 30 июля 1787 г. (по другим данным 1788 г.) в Грыневичах Великих на Подляшье (ныне Подляшское воеводство Польши) в семье настоятеля униатской Ильинской церкви. В десятилетнем возрасте в его судьбе большую роль сыграл его дядя пияр Михаил Данилович<sup>2</sup>, с помощью которого он поступил в пиярскую школу в Ломже, а затем в прусскую гимназию в Белостоке, где учился вплоть до 1807 г. В 1810 г. И. Данилович поступает на морально-политический факультет открытого в 1803 г. Виленского Императорского университета, а уже 20 июня 1811 г. фактически заканчивает обучение в звании кандидата прав, а еще через год удостаивается ученой степени магистра права. Тогда же, в 1812 г., он исполняет должность секретаря при французском генерал-губернаторе Белостока, а затем, с 1814 г., начинает преподавать местное гражданское право в Виленском университете. Близкое знакомство с профессором И. Олдаковским, памяти которого И. Данилович посвятил одну из первых своих печатных работ<sup>3</sup>, И. Левлевелем и другими способствовало поддержке его занятий местной письменной стариной.

В этот период в ученой среде Европы отмечается необычайно сильный всплеск интереса к проблемам живых народных языков и, пожалуй, впервые столь отчетливо и громко ставится вопрос о белорусском языке. Его обсуждают все чаще и чаще уже в первые годы XIX в., причем сейчас довольно трудно сказать, кто же конкретно оказался инициатором этого, во всяком случае едва ли им был А. Чарноцкий, как о том пишут некоторые исследователи. Несомненно, что среди этих пионеров были такие личности, как С. Линде, которому, кстати, принадлежит одна из первых обстоятельных работ о Статуте 1588 г., постоянно использовавшемся им в работе над фундаментальным “Словарем польского языка”<sup>4</sup>, К. Калайдович, обратившийся к изучению белорусского языка еще в 1812–1813 гг., а затем напечатавший свои специальные заметки “О белорусском наречии” и “Краткий словарь Белорусского наречия”<sup>5</sup>, а также целый ряд других исследователей.

Необходимо помнить, что в ту пору, в начале XIX в., одним из самых действенных способов распространения научных идей была ученая переписка, сохранившая свое значение по крайней мере вплоть до второй половины

ны века, а в некоторых областях и позднее<sup>6</sup>. Ею пользовались для контактов с коллегами, живущими в других городах и странах. Переписка эта сохранила для нас, быть может, наиболее ранние и интересные сведения, касающиеся постановки вопроса о белорусском языке в ученой среде Виленского университета, к чему в той или иной мере уже на раннем этапе оказался причастен и И. Данилович, с детства знавший свою местную так называемую “простую мову”, на которой говорило его родное подляшское село.

Недавно напечатано утверждение, будто И. Даниловичу и другим его коллегам по Виленскому университету не было известно понятие “белорусский”<sup>7</sup>. На самом деле это совсем не так. Вот, например, что И. Данилович писал вместе с ними летом 1822 г. князю А. Чарторыйскому о наличии изданий Литовского статута 1588 г.: “Среди печатных экземпляров есть давние русские (ныне называемые Белорусскими) в Университетской и Базилианской библиотеках...” Более того, их университетский сподвижник, профессор И. Лобойко, называет всю кирилловскую письменность Великого Княжества Литовского “белорусской”, строит обширные планы изучения “белорусского наречия” и “белорусской словесности”<sup>8</sup>. Без преувеличения, И. Лобойко можно называть едва ли не первым ученым-белорусистом, широко и однозначно употреблявшим термин “белорусский”<sup>9</sup>.

Впрочем, среди близких к И. Даниловичу людей были и более или менее определенные противники подобных взглядов. Например, И. Лелевель, который в юношеские годы даже побывал в родных краях И. Даниловича, на Подляшии, где проводил свои первые в жизни научные исследования — изучал народную жизнь, местный фольклор<sup>10</sup>. Вместе с тем именно И. Лелевель на долгие годы становится по сути соавтором И. Даниловича в работе над памятниками права Великого Княжества Литовского<sup>11</sup>.

Относительно начала изучения кириллографических Литовских статутов в научной литературе до сих пор не существует единого мнения. Несомненно выдающееся значение оказали на этот процесс работы С. Линде, прежде всего его одноименное исследование<sup>12</sup>. Собственно, как следует из многих фактов, интерес к Литовским статутам обнаружился у И. Даниловича уже во время учебы в Виленском университете, а возможно и еще ранее, в период занятий в Белостокской гимназии и посещений Супрасля, где пребывал тогда его дядя<sup>13</sup>. В 1823 г. выходит в свет значительное исследование И. Даниловича в области археографии Литовских статутов<sup>14</sup>, о чём тотчас же публикуются сведения в столичной печати России и даже особый перевод этой работы с польского на русский язык<sup>15</sup>.

Весьма важным моментом в жизни И. Даниловича было командирование его в 1817 г. университетом в Варшаву и Петербург сроком на один год для совершенствования в области правовых знаний. Кроме этих городов в рамках научной командировки ему удалось в 1818 г. впервые посе-

тить Москву, где он с успехом работал в архивах и библиотеках, собирая разнообразные материалы по истории Великого Княжества Литовского.

Важнейшим моментом в научной карьере И. Даниловича стало приглашение в 1821 г. молодого адъюнкта кафедры русского гражданского и уголовного права и польско-литовских законов в создавшийся Комитет по уточнению перевода Литовского статута и изучению местного права. Работа И. Даниловича в Комитете совпала с рядом заметных событий в его жизни. Он начинает активно печататься в виленских изданиях, в 1822 г. становится экстраординарным профессором университета, а в 1823 г. — ординарным. Тогда же И. Данилович еще более сближается с И. Лелевелем, который всегда имел на него большое влияние. Вместе они готовят публикации ряда исторических документов, среди которых главное место занимают кириллографические Литовские статуты. В университетской практике им удается привлечь на свою сторону часть студенческой молодежи, нередко привозившей из своих родных мест, населенных преимущественно белорусами, в том числе и с Подляшья, древние кириллографические грамоты, рукописные и старопечатные книги<sup>16</sup>.

Близость к студентам, среди которых было немало выходцев с Подляшья из таких же семей белорусского униатского духовенства, оказалась для И. Даниловича роковой. В 1824 г. в связи с известным делом филоматов-филаретов, дабы “пресечь дурное влияние”, были уволены из университета профессора М. Бобровский, И. Данилович, Ю. Голуховский, И. Лелевель. Для И. Даниловича настали тяжелые времена. Однако заступничество государственного канцлера Н. Румянцева помогло быстро уладить все проблемы и избежать дальнейших преследований. В начале 1825 г. И. Данилович назначается в Харьковский университет, куда он едет через Петербург и Москву.

В Петербурге И. Даниловичу удается необычайно сблизиться с Н. Румянцевым, который принимает его в своем дворце на Английской набережной, ведет с ним научные беседы, обращает внимание на изучение проблем истории Великого Княжества Литовского. О своих впечатлениях от колоссальных книжных и рукописных богатств, собранных со всей Европы в петербургском дворце Н. Румянцева, где И. Даниловичу предстояло сделать множество открытий, он писал как о самых сильных в его жизни<sup>17</sup>.

В Харьковском университете И. Данилович занимает кафедру российского и местного (провинциального) права, читает лекции по дипломатике, избирается деканом этико-политического отделения, собирает источники по истории Украины. Здесь же происходит и последняя его встреча со своим любимым учеником по Виленскому университету и другом А. Мицкевичем.

С 1826 г. Кодификационная комиссия превращается во Второе отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии, работу ко-

торого в 1828 г. возглавил М. Сперанский, сын сельского православного священника из Владимирской губернии. В Отделении продолжается изучение памятников литовско-польского права и на повестку дня все чаще ставится вопрос о привлечении к этим занятиям такого специалиста, как профессор И. Данилович, опубликовавший и публикующий параллельно с деятельностью Отделения все новые и новые труды по истории местного права, а также сами источники<sup>18</sup>. Весной 1830 г. по представлению М. Балугьянского, выходца из русинского села в отрогах Словакских Карпат<sup>19</sup>, И. Даниловича Высочайшим повелением переводят в Петербург в распоряжение Второго отделения, где ему поручают составление свода законов “для Западных губерний, присоединенных от Польши”. В Петербурге И. Данилович много работает в архивах и библиотеках<sup>20</sup>, вместе со своим учеником по Виленскому университету филоматом Ф. Малевским, близким другом А. Мицкевича<sup>21</sup>, составляет “Свод местных законов Западных губерний”<sup>22</sup>, предназначавшихся для Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Киевской, Подольской губерний, а также Белостокской области. По окончании этого объемного, в трех частях, труда И. Данилович был награжден орденом св. Анны второй степени и в 1835 г. стал ординарным профессором Киевского университета по кафедре уголовного права и первым деканом юридического факультета. Позднее для него в Киеве создадут специальную “кафедру местных законов западных, отделенных от Польши губерний”<sup>23</sup>. Находясь в Киеве, И. Данилович не утрачивает связи с М. Сперанским, занимается подготовкой к печати Литовского статута 1529 г. “Свод местных законов” в 1838 г. был рассмотрен Государственным советом, однако ввести его в действие не пришлось. 25 июня 1840 г. последовал Высочайший указ, отменяющий действие Литовского статута и дополнительных статей к нему в Западных губерниях<sup>24</sup>. В 1839 г. в связи с делом Ш. Конарского<sup>25</sup>, расстрелянного в Вильно в феврале того же года, начались массовые увольнения с государственной службы лиц, подозреваемых “в польских симпатиях”. Не избежал подобной участи и И. Данилович, отстраненный от преподавания в Киеве и назначенный ординарным профессором в Московский университет по кафедре законов благоустройства и благочиния и кафедре местных законов Западных губерний<sup>26</sup>.

В 1841/42 учебном году И. Данилович был переведен на кафедру гражданских законов Царства Польского и тогда же ввиду болезни вынужден подать в отставку. В 1842 г. он покидает Москву и поселяется в Киеве, а затем едет на лечение в Силезию, где 30 июля 1843 г. умирает<sup>27</sup>.

Профессор ведущих университетов Российской империи, член многих ученых обществ: Варшавского общества друзей науки, Московского общества истории и древностей российских, Копенгагенского общества северных антиквариев и других, И. Данилович всю свою жизнь посвятил изучению древних письменных памятников Великого Княжества Литовского, что

постепенно и неуклонно влияло на его внутреннее самоощущение, национальную ориентацию, которая с детства, казалось бы, определена происхождением, весьма конкретно названным крупнейшим современным историком Польши Ю. Бардахом так: “...плебей белорусского происхождения”<sup>28</sup>.

“Даниловичу была свойственна некоторая влюбчивость в те памятники старины, изучением которых он занимался, и хотя это не мешало научному скептицизму автора, тем не менее накладывало настолько явную печать на шаткие политические убеждения Даниловича с несомненно польскими симпатиями, что есть основания считать его патриотом-литвином, гражданином государства, давно исчезнувшего, и человеком, из любви к памятникам истории, служившим призраку XV–XVI вв.”<sup>29</sup>. Так писали в России в начале нашего века.

Вот почему совершенно невозможно согласиться с мнением академика В. Пичеты, который, конечно же не исследовав детально этот вопрос, ставил И. Даниловича в “ряд польских ученых”<sup>30</sup>, тех, что “не могли обратить внимание на особенности исторической судьбы литовского и белорусского народов”<sup>31</sup>. Впрочем, то, что И. Данилович не только обратил свое “внимание на исторические судьбы” именно “литовского и белорусского народов”, но и посвятил этому, по сути, всю свою жизнь, было ясно в России многим уже в пушкинскую пору. В какой-то степени, как лицо близкое к А. Мицкевичу, он через посредство великого поэта сообщил эти свои знания и А. Пушкину, живо интересовавшемуся историей Украины, Белоруссии и Литвы. Знал А. Пушкин и о существовании Литовского статута, и о том, что, как сообщалось в рукописном списке “Истории русов”, ему принадлежавшем, “доднесь в Княжестве Литовском видны по древним архивам и у частных особ старые привилегии и другие документы, писаные письмом Руским, а коренное право Руское, известное под именем судных статей и собранное в одну книгу, Статут называемую, переведено после с Рускаго на язык Польский”<sup>32</sup>. Более того, именно И. Данилович способствовал тому, что даже И. Лелевель в конце концов стал писать не иначе как о народе “литовско-русском” и “землях литовско-русских”, когда речь шла о Великом Княжестве Литовском<sup>33</sup>.

Впрочем, “польским ученым” считали некоторые видные русские исследователи тогда и земляка И. Даниловича профессора М. Бобровского, каковым В. Францев продолжал числить последнего и почти столетие спустя<sup>34</sup>. В 1932 г. известный литовский историк права академик А. Януйтайтис опубликовал книгу о И. Даниловиче, где особо подчеркнул его “литовскость”<sup>35</sup>.

С пушкинской поры русская элита, в том числе литературная, продела непростой путь понимания, отчасти вместе с самим И. Даниловичем, исторических судеб родного ему края, его народа, что с особой ясностью

видно на примере его земляка, ученика и друга А. Мицкевича. А. Пушкин называл последнего “поляком”: “Не то беда, что ты поляк: Костюшко лях, Мицкевич лях!” (1830)<sup>36</sup>. П. Вяземский, друживший с обоими, в 1873 г. восклицал, что А. Мицкевич остается “братьем нашим: он Литвин”<sup>37</sup>. А виднейшие русские пушкинисты XX в. писали в 1930-е гг. так: “Мицкевич … — величайший польский поэт — сын мелкопоместного шляхтича, по происхождению литвин”<sup>38</sup>.

\* Исследование осуществлено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 98-06-06057а).

<sup>1</sup> См. подробнее: Лабынцев Ю. На благое просвещение. Минск, 1999.

<sup>2</sup> См: I. K. O postępkach dobroczyńnych x. proboszcza w Surażu // Dzieje Dobroczynności. Wilno, 1820. S. 97–100.

<sup>3</sup> См: Daniłowicz I. Wiadomość o życiu i pracach uczonych Ignacego Oldakowskiego. Wilno, 1822.

<sup>4</sup> См.: Słownik języka polskiego. Warszawa, 1807–1814. T. 1–6.

<sup>5</sup> См.: Калайдович К. О белорусском наречии // Труды Общества любителей российской словесности. М., 1822. Ч. 1. С. 67–80.

<sup>6</sup> В свое время нам пришлось специально заниматься этими вопросами в связи со становлением филологической науки в Польше, России, Беларуси, Украине и Литве, чему, в частности, была посвящена магистерская диссертация. См.: Łabyncew J. Literatura rosyjska XVII – poczatku XVIII wieku w opiniach polskich slawistów (1800–1918). Wrocław, 1976.

<sup>7</sup> См.: Хаустовіч М. Заблытая карані: Яшчэ пра беларускую нацыянальную ідэю // Літ. і мастацтва. 1995. 25 студз. С. 5, 12.

<sup>8</sup> См.: Переписка протоиерея Иоанна Григоровича с графом Н. П. Румянцевым М., 1864. С. 41, 45, 46, 88.

И. Лобойко, в частности, сообщил о. Иоанну: “Когда я в 1822 г. приехал в Вильно, я весьма удивлен был письменным памятникам белорусского наречия, но мое удивление еще более возросло, когда я увидел, что здешние архивы по большей части ими наполнены” (с. 45).

<sup>9</sup> В переписке с о. Иоанном Григоровичем И. Лобойко подчеркивал, что с помощью Н. Румянцева ему удастся наконец показать обширную “область” знания, которую он стремился выделить и описать “под именем белорусской словесности”, и благодаря всей этой работе “белорусская словесность еще при жизни” его “из мрака забвения с таким достоинством выступает на свет” (Указ. соч. С. 46). И. Лобойко, кстати, консультировал по многим белорусоведческим вопросам упомянутого выше А. Чарноцкого.

<sup>10</sup> См.: Korotyński L. S. Piętnastoletni J. Lelewel jako pierwszy zbieracz piosnek ludu w roku 1801 // Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Warszawa, 1898. T. 1. S. 83–92.

<sup>11</sup> В этом творческом tandemie роль И. Лелевеля польскими учеными, пожалуй, преувеличена. См., напр., 10 т. трудов И. Лелевеля, в котором помещена специальная статья Г. Ловмяньского “И. Лелевель как историк Литвы и Руси”: Lelewel J. Dzieła. Warszawa, 1969. Т. 10.

<sup>12</sup> См.: Linde S. B. O Statucie Litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym, wiadomość. Warszawa, 1816.

<sup>13</sup> Свидетельства самого И. Даниловича о занятиях Литовскими статутами в 1815–1830 гг. приведены в его переписке с И. Лелевелем, помещенной в т. 4 “Ateneum Wileńskim” 1929 г.

Библиотека Супрасльского Благовещенского монастыря, обладавшая огромными массивами самой разнообразной европейской книжности, включая и Литовские статуты (подробнее см.: Щавинская Л. Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря. Минск, 1998), оказалась для И. Даниловича неисчерпаемой сокровищницей в его исторических и археографических штудиях.

<sup>14</sup> См.: Daniłowicz I. Opisanie bibliograficzne dotąd wiadomych rękopisów i drukowanych egzemplarzy Statuta Litewskiego // Dziennik Wileński. Wilno, 1823. T. 1. S. 377–398. T. 2. S. 1–18, 162–177, 261–293.

<sup>15</sup> См.: Соревнователь просвещения. 1823. № 22. С. 304–360.

<sup>16</sup> См.: Skarbiec dyplomatów... zebrał... Ignacy Daniłowicz. Wilno, 1860. T. 1. S. IV.

<sup>17</sup> Daniłowicz I. Statut Kazimierza Jagiellończyka. Wilno, 1826. S. IV–V.

<sup>18</sup> См., напр.: Statut Kazimierza Jagiellończyka, pomnik najdawniejszych uchwał litewskich z XV wieku, wynaleziony i drukiem ogłoszony staraniem Ignacego Daniłowicza profesora w Cesarskim Uniwersytecie Charkowskim. W rosyjskim języku, rosyjskimi i łacińskimi literami i po polsku. Wilno, 1826.

<sup>19</sup> Вероятно благодаря М. Балутьянскому сочинения И. Даниловича о Литовских статутах позднее были напечатаны “карпатскими русинами”. См.: Венок Русинам на обжинки. Вена, 1846.

<sup>20</sup> См.: Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. 6. С. 73–74.

<sup>21</sup> А. Мицкевич и Ф. Малевский познакомились скорее всего в 1815 г. сразу же по поступлении поэта в Виленский университет. Они даже жили в одном доме (см.: Dernałowicz M., Kostenicz K., Makowiecka Z. Kronika życia i twórczości Mickiewicza: Lata 1798–1824. [Warszawa], 1957. S. 84).

<sup>22</sup> См.: Данилович И., Малевский Ф. Свод местных законов Западных губерний. СПб., 1837; Данилович И., Малевский Ф., Сперанский М. Обозрение исторических сведений о составлении свода местных законов Западных губерний. СПб., 1837.

<sup>23</sup> Подробнее см.: Иконников В. С. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884. С. 147–173.

<sup>24</sup> См.: ПСЗ. Т. 15. № 13591.

<sup>25</sup> См.: Kwiatkowski W. Szymon Konarski na tle swej epoki. Wilno, 1939.

<sup>26</sup> См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета. М., 1855. Т. 1. С. 287–290; Runo. Polacy w Uniwersytecie Moskiewskim // Znicz. Moskwa, 1905. S. 42.

<sup>27</sup> Похоронен И. Данилович в Грефенберге (ныне Есенник в Чехии).

<sup>28</sup> См.: Bardach J. O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988. S. 71.

<sup>29</sup> Русский биографический словарь. С. 75.

<sup>30</sup> Любопытно, что в этом ряду всего три фамилии “Ярошевич, Балинский, Данилович”. Все они по происхождению так или иначе связаны с белорусским этносом или же родились на землях современной Беларуси. По своим взглядам они были достаточно близки, причем самым старшим из них являлся И. Данилович, младшим — его ученик по Виленскому университету М. Балинский.

<sup>31</sup> Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961. С. 429.

Известный современный польский ученый Б. Бялоказович вообще пишет о том, что И. Данилович “многое сделал для позднейшего роста белорусского национального самосознания” (см.: Białokozowicz B. U źródeł kształcania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 1995. N 4. S. 46; он же. Między Wschodem a Zachodem: Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej. Białystok, 1998. S. 52.) и, таким образом, польская сторона в лице ее самых авторитетных ученых уже не только не склоняется к безоговорочному зачислению И. Даниловича в число не обративших “внимания на особенности исторической судьбы литовского и белорусского народов”, но и подчеркивает его “белорускость”.

<sup>32</sup> История русов. М., 1846. С. 6.

А. Пушкин хотел издать в начале 1830-х гг. имевшийся у него список “Истории русов”, считая ее автором св. Георгия Конисского. Поэт посвятил “Истории” особую статью в “Современнике”, где опубликовал небольшие ее фрагменты, что дает право считать А. Пушкина и одним из первых археографов, изучавших памятник, и это действительно отмечается историками: см., напр.: Дорошенко Д. И. Огляд української історіографії. Прага, 1923. С. 48.

<sup>33</sup> См.: Lelewel J. Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską // Dzieła. Warszawa, 1969. Т. 10.

<sup>34</sup> См. подробнее: Щавинская Л. Л. Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв. С. 62–63.

<sup>35</sup> См.: Janulaitis A. Ignas Danilovičius Lietuvos bei jos teisés istorikas. Kaunas, 1932.

<sup>36</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1995. Т. 3. С. 215.

<sup>37</sup> Не исключено, что отец А. Мицкевича был из “простых” и получил шляхетство незаконно (см.: Czapska M. Szkice mickiewiczowskie // Londynska Biblioteka Literacka. Londyn, 1963. Т. 17. С. 33–34). Если это в самом деле так, то родословную А. Мицкевича по отцовской линии нужно вести от белорусских крестьян-униатов.

<sup>38</sup> Путеводитель по Пушкину. СПб., 1997. С. 254.

Павел Копанев (Минск)

## ПУШКИН И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Существует сакримальное изречение: о Пушкине сказано все. Это верно, но и неверно, в частности, особенно в отношении Пушкина. Ибо каждая эпоха открывает великого художника заново.

1. Вначале коротко о России и русской литературе.

Время деятельности Пушкина совпадает с периодом все нарастающего сближения и взаимодействия между новыми европейскими литературами разных стран и народов, с появлением понятия “мировая литература”, которое впервые было сформулировано Гёте. “Национальная литература сейчас немного стоит, — говорил он в 1839 г. И. Эккерману, — мы вступаем в эпоху мировой литературы, и каждый должен содействовать тому, чтобы ускорить появление этой эпохи”.

Всякая новая литература по природе своей народна. Новая русская литература народна по-своему. В конфликте с самодержавием она приняла на себя сторону народа. Одним из ее главных направлений с самого начала развивается тема нравственного очищения и душевного устройства, которые характеризуются исповедальностью русской литературы, т. е. безмерной взыскательностью к человеку. Поэтому русская литература давно привлекала и привлекает людей всей земли тем, что по сравнению с другими великими литературами мира проникнута большей заботой о человеке, большей тревогой за его судьбу, большим возмущением против несправедливости и зла, большим интересом к нравственной стороне человеческой личности.

2. Содействие Пушкина становлению новой русской литературы и ее всему последующему развитию было и поныне остается огромным.

Кто-то из историков русской литературы остроумно заметил: Пушкин — это полный завершенный круг, тогда как даже такие гении, как Толстой и Достоевский, всего лишь сегменты этого круга. Пройдя путями разными и сложными в своем художественном творчестве, подобными сегмен-

тами выступают поздний Достоевский, поздний Некрасов, поздний Толстой, поздний Блок, зрелый Маяковский, Есенин, Твардовский, Ахматова, Пастернак, Асеев, Антокольский, Сельвинский, Заболоцкий, Ушаков и многие другие, не названные здесь. Они все молились на Пушкина, учились у него, ибо он был для них как бы камертоном самой поэзии. Бескрайний мир Пушкина своим магнетизмом как бы пронизывал их. То же самое, наверное, необходимо сказать и о современных по-настоящему талантливых писателях и поэтах бывшего Советского Союза и нынешнего СНГ.

Пушкин опередил свое время, став великим новатором в том смысле, что он решил грандиозную задачу синтеза. Пушкин собрал и суммировал всю ту колосальную, но во многом еще и мозаичную работу, которую проделали его предшественники и современники. Для этого ему потребовалось совершить подвиг, может быть, не знающий себе ничего равного в истории всемирной литературы. Пушкин утвердил за Россией, за русскими право быть судьями над европейской историей и культурой, считая, что русские продолжают строить европейскую историю и культуру, берут и усваивают все самое ценное из многовекового развития Европы.

Пушкин был первым русским художником, давшим гениальный образ России как великой мировой державы. Этот образ смог быть исполненным только во всей универсальности. Он осветил Европу светом русской, а Россию — светом европейской мысли. В сущности, все его художественные произведения и публицистика так или иначе проникнуты духом мировой истории. И что характерно, особенно в его творениях последних лет. Пушкин проповедует ту мудрость жизни, до которой дошла человеческая жизнь за всю ее историю. Отношение его к мировой литературе отличается оригинальностью, потому что это был подход величайшего художника, в чьем творческом опыте были синтезированы, обновлены и обогащены новыми открытиями вершинные достижения искусства слова. Передовая Россия преклонялась и продолжает преклоняться перед своим великим Поэтом, который так верно и глубоко художественно изобразил жизнь народов и выразил их вековечные чаяния и надежды. В последний период жизни — петербургский — Пушкину были ведомы все страдания цивилизованного человека, но он обладал верой в будущее, которой человек Запада был уже лишен. Судить людей и осуждать их — разные вещи. Пушкин, как и другие писатели России, судил человека, глубоко веря в него. В пушкинском реализме находят черты эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. Пушкинское творчество — одно из наивысших проявлений самой сути человеческого творчества вообще — творчества по законам красоты. Пушкин пришел в русскую литературу как основатель великой и славной плеяды писателей и поэтов критического реализма (Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Некрасов, Щедрин, Герцен, Толстой).

### 3. Пушкин в оценках отечественных и зарубежных писателей и ученых.

Герцен, младший современник Пушкина, писал: “На вызов, брошенный Петром, Россия ответила 100 лет спустя “громадным явлением” Пушкина”.

В. А. Жуковский, старший современник Пушкина, так напутствовал его в письме 1824 г.: “Ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье, все вознаграждения… По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если высокостью гения соединить и высокость цели”. И в письме 1825 г. по поводу “Цыган”: “Я ничего совершеннее по слогу не знаю, кроме твоих “Цыган”. Но, милый друг, какая цель. Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить по себе отечеству, которому так нужно высокое?” Пушкин в ответном письме: “Ты спрашиваешь, какая цель у Цыганов? Цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвиг. Думы Рылеева целят и все невпопад”.

Евгений Баратынский, друг Пушкина, в письме к нему 1825 г. прямо сравнивал его поэтическую работу с созидающей деятельностью Петра: “Иди, довершай начатое. Ты, в ком поселился гений! Возвели русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один, а наше дело — признательность и удивление”. Недаром сам Пушкин неизменно возвращался к эпохе Петра, видя в ней узел всей истории новой России, так ярко заявившей себя Отечественной 1812 года, в том числе и возникновением великой национальной русской литературы.

Гоголь пишет: “При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным; это право решительно принадлежит ему… Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая жизнь его совершенно русская” (1834). В другом месте он дает литературный портрет Пушкина как литератора: “Для исполнения миссии писателю мало обладать талантом — ему необходимо приобрести полное познание земли своей и своего народа в корнях и в ветвях”. Писатель должен воспитывать себя как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества (сравнительно с “Капитанской дочкой” все наши романы и повести кажутся приторною размазнею… В первый раз выступили именно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик, сама крепость с единственной пушкою, бесполковщина времени и простое величие подвига простых людей”).

“Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспор-

но пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы... “Правильное”, то есть национальное самосознание наше”, — и далее Ф. М. Достоевский имел все основания утверждать, что “вся плеяда русских романистов, включая Льва Толстого, получившая мировую известность и признание, вышла прямо из Пушкина. У нас все ведь от Пушкина”. Интересным представляется отношение Толстого к Пушкину, увидевшего в нем своего предшественника и в иерархии характеров как в важнейшем принципе реализма, и в том, что Пушкин фактически отклоняет просветительское противопоставление героя массе, а также снимает противопоставленность между бытием и бытом. Толстой призывает учиться у Пушкина не только в поэзии, в которой все предметы предвечно распределены по известной иерархии. А у Пушкина, находит Толстой, эта гармоническая правильность распределения доведена до совершенства. У Пушкина та же самая гармония и в прозе. Вначале Толстому показались “Повести Белкина” как-то суховаты. Но вот в письме П. Д. Голохвастову (10.04.1873 г.) Толстой увидел благотворность такого сжатия изображения. “Чтение Гомера, Пушкина сжигает область, и, если возбуждает к работе, и это безошибочно”.

В. В. Виноградов так рисует картину становления и развития Пушкина как основоположника русской реалистической литературы. Создавая многообразие индивидуальных средств художественного выражения и художественной композиции, он нередко строил новые литературные формы на фундаменте самых разнообразных стилей русской и мировой литературы, всегда в том или ином отношении характерных или культурно-значительных. В творчестве Пушкина с начала 20-х до середины 30-х гг. разнообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, служивших ему прекрасным орудием для реалистического воспроизведения разных эпох и разных сторон действительности. При посредстве их поэт воплощал, а иногда и пародировал сложнейшие темы и сюжеты. Художественное мышление Пушкина — это мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту<sup>1</sup>. В этом плане пути реалистического освоения действительности в художественном творчестве Пушкина исключительно многообразны: он творчески использовал стили русской народной поэзии, стиль летописей, стиль Библии, Корана, стили Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, Кюхельбекера, Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсвортса, Шекспира, Миоссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для оригинального творчества. Пушкин доказал способность русского

языка творчески освоить и самостоятельно, оригинально отразить всю накопленную многими веками словесно-художественную культуру Запада и Востока.

П. А. Вяземский, друг Пушкина, наблюдавший его за работой, писал: “Труд был для него святыня, когда он принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался”<sup>2</sup>.

Из зарубежных отзывов, между прочим, очень немногих, я приведу здесь места из речи Тургенева о Пушкине, произнесенной им по-французски. Он приводил высказывания Проспера Мериме о Пушкине. Если их свести воедино, то для Мериме Пушкин был лучшим наследником и продолжателем всей мировой литературы за всю ее историю. Пушкина он называл величайшим Поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго. “Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою. Наши поэты идут противоположной дорогой. Они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, а если ко всему этому им предстанет возможность не оскорбить правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут впридачу. У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собой из самой трезвой прозы”<sup>3</sup>. Тургенев далее сообщал, что Мериме находил немало общего между Пушкиным и древними греками, отмечая в пушкинской поэзии слияние идеального и реального, восхищаясь умением Пушкина общеизвестное выражать самым оригинальную образом.

4. Для нас, нынешних, Пушкин — всемирный художник, в такой же мере всемирный, как Данте, Шекспир, Гёте и Байрон, у которых он учился и которых во многих отношениях превосходил. Разумеется, этот тезис потребует специального, более подробного исследования, как и пушкинский призыв “Не преступи!” высоконравственного закона жизни, в пределах страны направленный им не только правителям, но и народу. Не случайно Пушкин был певцом Петра, Степана Разина, Емельяна Пугачева. А также пушкинский лозунг, направленный зарубежным государствам и народам: приближайте всячески тот миг, “когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся...”.

5. Всецеловечность пушкинского гения почему-то не стала одной из наиболее известных тем всей мировой эстетической мысли. На этот вопрос до сих пор существуют три мнения:

а) Слова Пушкина: “Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна” (т. 7, 306). Слова М. Горького: “Если бы люди Европы и Америки, в которых процесс чтения произведений подлинного искусства вызывает радостное и почти религиозное чувство восхищения красотой и мудростью духа человеческого, — если бы эти люди знали творчество Александра Пушкина, они оценили бы его так же высоко, как высоко и справедливо оценено ими священное писание о человеке

столь гениальных художников, каковы Шекспир и Гёте и другие этого ряда гиганты”<sup>4</sup>.

б) Может быть, современники и последующие поколения ученых не вполне осознавали истинные масштабы деятельности и творчества Пушкина. Даже такие гении русского литературоведения, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов и др., не называли Пушкина всемирным гением. В их трактовках Пушкин выглядел проще, элементарнее, чем даже Тургенев, не говоря уже о Толстом и Достоевском. Пушкин — как сама природа, она есть и поэтому ее заслуги не подчеркиваются. Если угодно, это и национальная черта — уважение к чуждым культурам развивало у русских чрезвычайную скромность в отношении к самим себе.

в) М. П. Алексеев делится своими размышлениями по поводу нового этапа теории и практики художественного перевода, о сопоставительном анализе переводов классических памятников мировой литературы на разные языки. Автором статьи рассматриваются многоязычные переводы таких шедевров, как “Божественная комедия” Данте, трагедии и сонеты Шекспира или “Фауст” Гёте, а также многоязычные переводы пушкинского “Евгения Онегина” — одного из совершеннейших и своеобразнейших созданий Пушкина и, безусловно, одного из труднейших для передачи на любой иностранный язык. Переводчик должен считаться со всеми специфическими качествами “онегинской строфы” во всем неповторимом своеобразии ее структуры — метрической и стилистической, с бесконечными вариациями строфических окончаний, то отточенных метких афоризмов, то эффектных иронических арабесок, с системой рифмовки, мелодикой стиха, лирическими партиями, сознательно и искусно переплетенными с естественным звучанием, разговорных интонаций во всех регистрах человеческих голосов. Но переводчики, казалось, не посчитались с богатством вышеназванных качеств романа и даже его лексики, многосмысленной и неисчерпываемой, терявшей свой цвет и вкус, когда их извлекали из той атмосферы словесных сочетаний, где они жили своей полнокровной жизнью. Уже во второй половине XIX в. сами переводчики безуспешно пытались ответить на вопрос: останется ли Пушкин “пленником русского языка”, им самим доведенного до такой степени совершенства, что в его собственных лучших созданиях он стал вовсе непереводимым. Статья заканчивается вопросом: насколько изменилось положение с переводимостью пушкинской поэзии на разные языки в XX ст.?<sup>5</sup>

Подобная спаянность мысли и языка в пушкинских творениях пугает и ныне зарубежных переводчиков, о чем более чем красноречиво свидетельствуют слова Алена Боске: “Пушкинский язык обладает совершенно неповторимым диапазоном: неизъяснимой грацией, музыкальностью, мягкой дерзостью, теплой насмешливостью. Возможно ли перевести Пушки-

на, если он пользуется только необходимыми и единственно возможными рифмами? До сих пор, несмотря на десятки похвальных попыток, ответ был недвусмысленным: “нельзя”.

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 484.

<sup>2</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб. Т. 5. С. 18.

<sup>3</sup> Цыт. па: Тургенев И. С. Собр. соч. М., 1956, Т. 11. С. 216.

<sup>4</sup> Архив М. Горького. М., 1951. Т. 3. С. 293.

<sup>5</sup> Алексеев М. П. Евгений Онегин на языках мира // Мастерство перевода. М., 1964.

Алексей Кавко (Москва)

### МИЦКЕВИЧ И ПУШКИН: “ЛИТОВСКИЙ” АСПЕКТ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЛЁМИКИ

А. Н. Пыпин в свое время (1880 г.), касаясь творческих коллизий между этими двумя поэтами, отнес польский вопрос (о вопросе “литовском”, т. е. белорусском, речь впереди) к числу “самых трудных и неблагодарных тем русской литературы”<sup>1</sup>. Тогда же (1873 г.) и П. А. Вяземский в статье “Мицкевич и Пушкин”, разводя по разным сторонам идеологические пристрастия и художественные достоинства обоих, “отпустил” польскому поэту его “политические предубеждения” (“нам до них дела нет”), все же сожалея о нем как о “блудном брате”, где не вернувшемся “под кров родной”, то бишь общероссийский<sup>2</sup>.

Печатью подобного сожаления отмечена и небольшое лирическое воспоминание неизвестного автора (конец XIX в.) о трогательном, увы, незавершенном романе молодого Мицкевича и юной москвички Каролины Павловой (Яниш), сохранившей к нему на все свои долгие годы первозданное трепетное чувство: “Мицкевича политиканствующего [курсив здесь и далее наш. — А. К.] она не знала, а в ее воображении он всегда был окружен ореолом истинной поэзии”<sup>3</sup>.

Современные российские исследователи менее категоричны. В осмыслении творческой судьбы Мицкевича в пушкинском контексте они стремятся преодолеть умолчания и упрощения советского мицкевичедения, постичь природу объективных историко-идейных противоречий между обоими гениями (работы Д. П. Ивинского, В. А. Хорева и др.). В то же время справедливо прочно устоявшееся мнение о первенстве высокой поэзии, которая однажды и навсегда породнила эти две и несходные, в чем-то друг другу противостоящие, но и взаимопрятягаемые фигуры. Тем более, что и каждый из них, не колеблясь, предпочел преходящей суете идеал прекрасного и вечного.

А. Пушкин:

Издревле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует:  
Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует;  
Друг другу чужды по судьбе,  
Они родня по вдохновению.

(*К Языкову*. 1824)

А. Мицкевич:

Их души вознеслись над всем земным, —  
Так две скалы, разделены стремниной,  
Встречаются под небом голубым,  
Клонясь к вершине дружеской вершиной,  
И ропот волн вверху не слышен им.

(“Дзяды”. Ч. III. Пер. В. Левика)

В чем приходится упрекать наших мицкевичеведов, а отчасти и пушкинистов, — так это в их заметном польскоцентризме, когда не учитывается специфика мицкевичевской “польскости”, обусловленная “литовским”, в данном случае белорусским, фактором в родословной, в мировоззренческой и художественной системе автора “Крымских сонетов”, “Пана Тадеуша”. Не говоря о поэме “Дзяды” и особенно о послании “Русским друзьям” — одном из наиболее, пожалуй, провидческих произведений поэта, явившего собой в известном смысле творческий, хотя и парадоксальный эталон испытания “белорусского духа польским языком” (выражение В. И. Мархеля).

Различие политico-государственного (“поляк”) и этнокультурного (“литвин”) начал в самосознании, в художественном мировосприятии Мицкевича важно во многих отношениях: для более полного и адекватного прочтения его поэтического наследия, для уяснения уникальности стяжения в этом художнике-мыслителе нескольких национальных стихий (польская, белорусская, еврейская, литовская), для определения его роли в судьбах других, прежде всего соседних культур и литератур. Известный польский мицкевичевед Ю. Третяк еще в начале века образно подметил в поэме “Пан Тадеуш” итог “обручения” литовско-белорусской стихии “с польской цивилизацией” <sup>4</sup>. Современный французский славист, расширяя подобное сравнение на все творчество поэта, также находит в нем оригинальное схождение “польской элитарности” и “белорусской крестьянскости” <sup>5</sup>. Вообще же белорусская фольклорно-этнографическая “закваска” в творчестве польского поэта достаточно широко и доказательно представлена во множестве работ, увидевших свет в Белоруссии (С. Александрович, О. Лайко, А. Мальдзис, В. Мархель, А. Петкевич, С. Станкевич, В. Тумаш, К. Цвирка и т. д.) и Польше (С. Свирко, М. Олехнович, Б. Бялоказович, Т. Позняк, Ф. Селицкий и др.).

Но пушкинская тема относительно Мицкевича выходит, взрывает узко этнографические рамки представлений о его белорусской подпочве и почве, по нашему убеждению, не сводимой лишь к селянско-бытовому пласту. В данном конкретном случае напоминает о себе, пусть подспудно и косвенно, давняя традиция белорусской интеллектуалистики, в некотором смысле белорусской национальной идеи, которая длительное время, в силу известных причин, являлась миру в польских языковых одеждах (как в наше время нередко — в русскоязычных).

Итак, о “Литве” Адама Мицкевича, а точнее о его межнациональном, польско-белорусском, в частности, статусе. В этом вопросе национально-патриотической самоафтигации поэта исключительно ценные его собственные высказывания. Крылатый засин “Litwo, ojczyzna moja...” можно дополнить множеством других его свидетельств, акцентирующих глубокую и постоянную привязанность поэта-изгнанника к своей изначальной родине Литве-Беларуси, о которых повторяться, в силу их широкой известности, нет необходимости. Разве что полагали бы мы не лишним возразить некоторым крайностям в интерпретации вопроса, когда упомянутая выше “Литва” начисто “отсекается” от историко-культурного, географического пространства Белоруссии на счет Литвы этнической (в прошлом Аукштайтии, Жемайтии-Жмуди) или целиком отожествляется с Белоруссией, а сам Мицкевич отчуждается не только от собственно Литвы (этнической), но, случается, даже от Польши.

Однако обе эти крайности, нет-нет да и напоминающие о себе в белорусской и литовской печати, словно предвидел сам Мицкевич. Когда-то он достаточно конкретно очертил пределы своей “Литвы”, как бы наперед снимая взаимные препирательства в данном вопросе и литовцев, и белорусов:

Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод  
За берег Припяти слух обо мне пройдет.  
Меня чтят Минск и Новогрудок чтят,  
Переписать меня вся молодежь спешит,  
И стражникам назло, сквозь царской кары гром,  
В Литву везет еврей моих творений том.

(“Візит пана Францишка Гжимайло”.  
1833. Пер. В. Левика)

То же самое — о нерасторжимости литовского и польского моментов у поэта, с тем существенным уточнением, что понимаемая им родная Литва (усеченный полиэтноним от Великого Княжества Литовского) — это часть (край, регион, провинция) более обширного и высокого образования в обличье родины-Польши (на бытовом уровне тогдашнее название бывшей федеративной Речи Посполитой), единой матери всех населяющих ее народов: “Литвин и мазур — братья, но пристало ли им спорить между собой из-за того, что один зовется Владиславом, а другой Витовтом. Одно

у них имя — имя поляков (XII гл. “Книг польского народа и польского пилигримства”). И этот двузначный, а правильнее двуипостасный характер национального мироощущения Мицкевича четко обнаруживается при соприкосновении с другой, внешне для него чуждой реальностью. Вспомним обобщающий образ Петербурга (отрывок из III части “Дядов”), рожденный внутренними переживаниями нашего литвина-поляка в изгнанической “Дороге в Россию”:

А в этих снегах, чтоб дворцы и палаты  
Воздвиглись на радость холопам царя,  
Лились наших слез, нашей крови моря...

.....  
А сколько подвластных земель об обрать!  
Слезами Украины они заплатили,  
И кровью литовской и польской земли...

(Пер. В. Левика)

Или вот еще, по-своему также показательная иллюстрация о целостном родстве, но не тождестве “литовскости” и “польскости” у Мицкевича. Выдержка из его письма к украинско-польскому поэту Богдану Залесскому от 23 июня 1841 г. — о репрессивной политике царских властей в присоединенных “литовских” землях:

“Все поляки тех провинций могут оказаться “mis hors la loi” [от франц. вне закона. — А. К.]. Кабинеты что-то рядят о княжестве Варшавском, но о нас и не заикнутся! Горе нам, литвинам [белорусам и литовцам. — А. К.] и вам, русинам [украинцам. — А. К.], на Бога надежда да на патронов Польши”<sup>6</sup>.

Из всего высказанного становится зrimой та идеино-художественная и нравственная высота, на которую возносились, воспламеняясь, сокровеннейшие мысли, чувства поэта в вопросе независимости, территориальной целостности его родины. К слову говоря, и в упомянутых нами “Книгах пилигримства” он, кроме всего, выступает страстным ревнителем и глашатаем общепольской идеи с ее “литовской” составляющей и... определяющей. Многовековой опыт единения Великого Княжества Литовского (Литвы) с Польской Короной (Польшей) в понимании Мицкевича являл собой некий эталон грядущего союза между всеми христианскими народами. Идею той великой и свободной семьи народов, которой “певец Литвы” перед тем окрылял своего русского собрата по перу во временах их личных контактов в Москве и Петербурге (пушкинское “Он говорил о временах грядущих...”, — стихотворение “Он между нами жил...”. 1834).

Словом, “литвинское”, по-современному белорусское, самоутверждение Мицкевича в своих истоках, корневой основе имеет ту же самую историческую и этнопсихологическую мотивацию, которая аналогичным образом обусловливала самосознание и творческую устремленность его пред-

шественников, современников и последователей — сородичей-литвинов генерала Костюшко, композитора Огинского, ученых-гуманитариев Бобровского, Даниловича, легендарного повстанца Калиновского, поэта Сырокомлю, этнографа, издателя Киркора, многих-многих других представителей так называемой краевой, полонизированной шляхты — тех детей и внуков блудных сыновей Беларуси, которые дали мощный толчок национальному возрождению и от которых так или иначе ведет свой отсчет ее новая литература, общественная мысль. Хотя окончательное закрепление той и другой под своим собственным белорусским именем совершился лишь на рубеже XIX–XX вв., с выходом на творческое поприще Богушевича, Купалы, Коласа, Богдановича, братьев Луцкевичей, Ластовского и других.

Однако о Мицкевиче. Более чем очевиден тот факт, что в его восприятии, убеждении литовско-польская пространственная и духовная целостность, нерасторжимость, немыслимые каким бы то ни было посягательствам со стороны, составляли плоть и кровь жизненного пути поэта, высший императив его поэтического воображения, эстетической и философской системы.

Таков, стало быть, и его патриотизм, достигающий предельного эмоционального подъема в заключительных частях “Пана Тадеуша” — этой необыкновенной поэтико-романтической саги о сыновней жертвенной любви и преданности родному краю. О чувствах столь же возвышенно благородных, насколько, порой, иррациональных, иллюзорных. Как и случилось с надеждами литовско-польских патриотов с помощью наполеоновских штыков восстановить независимость своей страны. В поэме сию скровенную мысль местной шляхты озвучивает ксендз Робак (Червяк):

Война за Польшу, брат, а мы с тобой — поляки,  
Французов, сам видал, над Неманом стояли,  
И долго ждать гостей придется нам едва ли...  
Ведет Наполеон к нам армию такую,  
Какой не видел свет, и я душой ликую!  
Ведь польские полки идут в войсках французов  
С орлами белыми! Домбровский... Славный Юзеф!

(Пер. С. Мар)

В атмосфере патриотического возбуждения, подогреваемого мифологизированным культом французского императора, прошли детство и ранняя юность будущего автора “Пана Тадеуша”, закладывались в сознании и памяти основные знаковые ориентиры между своими и чужими, друзьями и недругами.

О незабвенный год, ты памятен для края!  
Ты для народа был порою урожая,  
Войной — для воинов, для песни — вдохновеньем,  
И старцы о тебе толкуют с умиленьем.

Ты был предшествуем народною мольбою  
И возвещен Литве кометой роковою,  
Литовские сердца, как пред концом вселенной,  
Забились по весне надеждою сокровенной  
В глухом предчувствии и радости и боли.

.....  
Война! И юноши тот час же рвутся в битвы.  
А женщины творят с надеждою молитвы,  
И повторяют все с восторгом умильным:  
“С Наполеоном Бог и мы с Наполеоном!”

(Пер. С. Мар)

Русского приятеля и оппонента польского поэта также вспаивали глубокие соки родной земли; юный характер пушкинского гения также мужал в обстановке высочайшего национального подъема и напряжения, но... в смертельной схватке с кумиром польско-литовской аристократии, а в известном смысле и с ней самой <sup>7</sup>.

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас...

(“Из Пинденомти”. 1836)

Исследователь, подметивший сию парадоксальноозвучную параллель в творческой генеалогии обоих поэтов, конечно же прав в обобщающем своем замечании насчет того, что и участие поляков в наполеоновской интервенции в России, и, еще раньше, драматические события Смутного времени в Московии, с той же “польской подмогой” <sup>8</sup>, а в сущности нашестье на Москву “западнорусской” шляхты <sup>9</sup>, наложили отпечаток на восприятие Пушкиным польского вопроса, на резко отрицательное отношение поэта к восстанию 1830–1831 гг., воспринятого им как посягательство на основы русской государственности.

А между тем в самом этом вопросе, в его крылатой пушкинской версии (“домашний спор славян между собой”) изначально имелся один принципиальный аспект, в своем роде исторический стержень, вне которого ни сама эта проблема, ни ее художественные модификации (в русской литературе на Пушкине не исчерпанные) невозможно должным образом ни объяснить, ни уяснить. Речь идет о белорусско-литовских, отчасти украинских землях в составе бывшего Великого Княжества Литовского, о так называемой “литовской Руси”, захватнические притязания на которую составляли, начиная с конца XIV в., одну из главных стратегических установок во внешней политике великих князей московских, а следом за ними российских императоров. Политики, оборачивавшейся для этих территорий десятками опустошительных войн, вплоть до окончательных разделов Речи Посполитой и включения упомянутых земель в состав Российской государства. Многие отечественные пушкинисты, в прошлом и почти со-

лидарны в том, что автор “Клеветникам России”, других стихотворений в сборнике “На взятие Варшавы” (СПб., 1831; соавтор В. Жуковский) выступал в данном вопросе как подлинный русский патриот-державник, поддержанный не только официальным мнением, но и многими представителями либерально-демократической и даже радикальной интеллигенции (П. Чаадаев, возвратившийся из ссылки декабрист А. Бестужев и т. д.). Император Николай I, замечает известный пушкинист, не случайно ввел было поэта в придворное окружение, поскольку “хотел видеть в “умнейшем человеке” России государственного идеолога. И уж во всяком случае идеологом государственности Пушкин был. При самом критическом отношении к разным сторонам и проявлениям не только николаевской, но и петровской государственности”<sup>10</sup>. Суждение верное, почти аксиоматичное, — выражать, отстаивать высшие национально-государственные интересы своего отечества является не только правом, но и нравственным долгом каждого служителя Музы, тем более наделенного пророческим даром. Поэтому можно согласиться и с другим, родственным по духу предыдущему высказыванием: “Крепко сидел, конечно, в душе Пушкина державник — борец за единоплеменную Россию”<sup>11</sup>.

Наш вопрос в другом: насколько Пушкин-государственник, в реальной своей ипостаси, мог быть понят и принят Мицкевичем, родина которого стала жертвой этой самой государственности? Русский поэт воспринимал данную жертву как неизбежную историческую закономерность, якобы рожденную давним правом России на эти земли, хотя те никогда в прошлом в российских пределах не находились. В данном вопросе Пушкин следовал за историографом М. Карамзиным, рассматривавшим историю Белоруссии в соподчинении с централизаторским курсом Российского государства. Впрочем, мнение об исторической интегральности упомянутых выше земель с Россией являлось фактически общепринятым в русских просвещенных кругах; их “отсоединенности” даже в мыслях не допускали ни декабристы Пестель, Рылеев, ни консервативный историк Погодин. Словом, в отношении Литвы-Беларуси российское общественное сознание не позволяло себе снизойти даже до вынужденного благородства, которое, к примеру, к собственно Польше проявил специалист в польских делах, поэт и друг Пушкина, упомянутый в начале Вяземский, высказав в разгар восстания 1831 г. довольно оригинальное суждение о тщетности насильственного удержания в российских пределах этнографически польской территории: “Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекрутъ”<sup>12</sup>.

Во всем нами сказанном и заключена сущностная сторона так называемого польского вопроса, точнее — русско-польского спора о границах. И в данном споре позиция Александра Сергеевича была однозначна:

Куда отдвинем строй твердынь?  
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?  
За кем останется Волынь?  
За кем наследие Богдана?  
Признав мятежные права,  
От нас отторгнется ль Литва?  
Наш Киев дряхлый, златоглавый,  
Сей прашур русских городов,  
Сроднил ли с буйною Варшавой  
Святыню всех своих гробов?

(“Бородинская годовщина”. 1831)

Наконец, своеобразно проецируемый на будущее “поэтический” алгоритм извечного противостояния:

Кто устоит в неравном споре —  
Кичливый лях иль верный росс?  
Славянские ручьи ль сольются в русском море,  
Оно ль иссянет? Вот вопрос.

(“Клеветникам России”. 1831)

Отклик Мицкевича из далекого Парижа прозвучал, хотя и без уточнения вопроса о границах, лирически не менее пламенно, исповедально. Его послание “Русским друзьям” не оставляло ни малейших сомнений в национально-патриотической решимости, самоттдаче автора, возвысившего отчаянный и гневный голос против поработителей его родины, включая вольных и невольных заложников сей поработительской политики — вчерашних друзей поэта. Но об этом произведении чуть ниже. Пока же о Пушкине.

Историческая альтернатива рассматриваемому спору двух сторон вилась русскому поэту уже решенной окончательно и решенной в пользу России. Это свое убеждение и нескрываемое удовлетворение он неоднократно высказывает также в различных замечаниях, письмах, в частности, к Е. М. Хитрово от 21 января 1831 г.: “Вопрос о Польше решается легко. Ее может спасти лишь чудо, а чудес не бывает. (...) Из всех поляков меня интересует один Мицкевич. В начале восстания он был в Риме, я боюсь, не приехал ли он в Варшаву, чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества”<sup>13</sup>.

Далее. В противостоянии давних спорщиков — “гордого ляха” и “верного росса” — Пушкин не смог увидеть и предвидеть субъектно-исторических возможностей других равноправных хотя на ту пору относительно “молчаливых”, почти пассивных участников спора — белорусов и украинцев (если говорить только о “славянских ручьях”). В своем взгляде на оба эти народа, в частности, на белорусский, поэт исходил из великодержавной, патерналистской позиции властей, исключавших за белорусами какую бы то ни было самостоятельность, самостоятельность, историческую инициа-

тивность. Отломленная ветвь “общерусского” древа, к тому же “подпорченная” длительным польским влиянием и подлежащая де обратной “пришивке” к общерусскому стволу — таково, несколько упрощая, едва ли не общепринятое суждение о белорусах, кочующее со времен Пушкина и поныне во многих русских умах<sup>14</sup>.

Однако проблема здесь, полагаем, не в имманентной злонамеренности мышления русских, россиян, сколько в способности, решимости “самих белорусов” (Н. А. Добролюбов) составить для других, а прежде всего для себя самих достоверное, неискаженное причудами тайных кабинетов представление о себе, своем прошлом и будущем. В пушкинское время подобные сведения практически отсутствовали. Тогдашняя белорусская элита, большей частью полонизированная и почти начисто оторванная от языковых, культурно-национальных корней своего народа, не только не могла оспорить, но объективно укрепляла бытовавший стереотип о его “польской” подпорченности и исторической беспомощности.

Во многих научных работах, публицистических писаниях давно уже притчевой стала пушкинская фраза о “народе, издревле нам родном”, контекст которой авторы, как правило, предпочитают не затрагивать, хотя он весьма и весьма существен для понимания поэтом белорусского вопроса, а нами — его “белорусской” ошибки. Именно ошибки, — так сказали бы мы сегодня, повзрослев и, возможно, поумнев за истекшие 230 лет, но вряд ли подобрев, став прозорливее. Понимая под прозорливостью отзывчивость на ту самую “тайную свободу” (А. Блок), которая-то, в сущности, и составляла высшее, промыслительное призвание и непостижимую загадку русского гения “чистой красоты”.

В восприятии Белоруссии поэт полностью солидаризировался с политикой императрицы Екатерины II в вопросе о разделах Речи Посполитой: “Семь областей, древнее достояние нашего отечества были возвращены и в 1773 году Георгий [Конисский] явился перед Екатериной уже как подданный, радостно приветствуя избавительницу и владычицу Белоруссии”<sup>15</sup>. Так что ни на какое национальное самоопределение белорусов у Пушкина не было даже намека. И враждебность его восстанию 1830–1831 гг., в определенном смысле таком же белорусском (“литовском”), как и польском, диктовалась исключительно интересами “домашнего спора”, а точнее — интегральности тогдашних “западнорусских” территорий с Российским государством. Заслонять же сегодня данную позицию некоей более широкой проблемой, якобы обусловленной потребностями общеславянского единства (“агульнаславянской еднасці”)<sup>16</sup> — не более чем исследовательская натяжка, если не обыкновенная дань политico-идеологической конъюнктуре.

Русский литературовед-эмигрант Кирилл Тарановский был безусловно прав, указав еще более чем на полстолетия ранее на сугубо всерос-

сийскую, а не всеславянскую сторону и суть рассматриваемого спора<sup>17</sup>; с подобной, “внутрирусской” точки зрения подходит к проблеме и современный пушкинист<sup>18</sup>.

Но в настоящее время (к вопросу о современном прочтении классики) место Польши в так называемом “общероссийском” споре заняли новые исторические фигуры — Беларусь и Украина, субъектной роли которых в отношениях с Россией не дано было предугадать даже гениальному поэту-мыслителю. Тем не менее и теперь, полторацати лет спустя, нельзя не отдать должное невольной провидческой глубине пушкинского, пусть и риторического, с ретроспективы глядя, вопроса: “За кем наследие Богдана? (...) От нас отторгнется ль Литва?” Быть может, невольное потаенное чутье подсказывало поэту перед фактом для него вообще-то очевидным, неоспоримым ограничиться, тем не менее, вопросительным знаком — при уже всеобщем торжестве в этой части знака утвердительного, который, кстати, и венчал памятную медаль о присоединении упомянутых выше земель к России, с известным царственным изображением и однозначной надписью “Отторгнутое возвратих”.

Таким образом, упомянутый вначале польский вопрос для русской литературы на наших глазах преобразуется и уже преобразовался в вопрос белорусский<sup>19</sup>. И как таковой, он напрямую ставится сегодня белорусскими писателями, общественными деятелями перед российскими коллегами в надежде на их солидарность в противодействии имперским кругам России под ширмой очередного “воссоединения” затянуть петлю на шее этого в муках возрождаемого независимого славянского государства в центре Европы<sup>20</sup>.

И польский поэт как бы снова и по-новому возвращается в наше поэтическое и гражданское пространство. Возвращается не столько поляком, сколько убежденным белорусом, по-прежнему объятый мучительной тревогой за исход очередного испытания, выпавшего на долю его родины. Возвращается, чтобы снова “русским друзьям” напомнить о своем горьком со-рушении и предостережении:

Теперь всю боль и желчь, всю горечь дум моих  
Спешу я выплыть в мир из этой скорбной чаши.  
Слезами родины пускай язвит мой стих,  
Пусть разъедает, жжет — не вас, но цепи ваши.  
А если кто из вас ответит мне хулой,  
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый  
И рвется искусать, любя ошейник свой,  
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.

(“Дзяды”. Ч. III. Пер. В. Левика)

Итак, не вольется в “русское море” ручей белорусский; его устремленность, самостоятельная, самобытная, — в общечеловеческий океан вечности. Наряду и, хотелось бы верить, в согласии с русским. И тогда в самый

раз перечеркнуть, как неактуальное, сострадательное замечание литвина Мицкевича о сущностной черте русского героизма — “героизма неволи” (“Biedny narodzie, żal mi twojej doli! // Jeden znasz tylko heroizm: niewoli”. — “Дзяды”. Ч. III).

Вопрос же о несвободе (о неволе), полагают философы, есть вопрос не столько академический, но скорее всего моральный и разрешаем способностью одного индивидуума подчинить свои заблуждения или нравственную несвободу освобождению другого<sup>21</sup>. По-видимому, в этой христианской аксиоме и заключена разрешимость взаимной полемики между поэтами, — при всем том, что “правы были оба, ибо каждый из них любил свое отчество”<sup>22</sup>.

<sup>1</sup> Пыпин А. Польский вопрос в русской литературе // Вестник Европы. 1880. Кн. 2. Февр. С. 703.

<sup>2</sup> Русский архив. Год 11-й. 1873. С. 472.

<sup>3</sup> Встреча Каролины Павловны Павловой (Яниш) с Адамом Мицкевичем // Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 411, оп. 1, ед. хр. 13, л. 3.

<sup>4</sup> Tretiak J. Kim jest Mickiewicz? Wyd. 2. Kraków, 1924. S. 94.

<sup>5</sup> Древескі Б. Беларусь як зона сутыкнення розных культурных традыцый... // Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзяняня, дыялогу і сінтэзу. Беларусіка = Albaruthenica. Мн., 1977. Кн. 6. Ч. 2. С. 26.

<sup>6</sup> Mickiewicz A. Dziela. Warszawa, 1955. Т. 15. С. 84.

<sup>7</sup> В составе наполеоновской армии польско-литовские подразделения насчитывали в общей сложности более ста тысяч человек.

<sup>8</sup> Ивинский Д.Т. Александр Пушкин и Адам Мицкевич в кругу русско-польских литературных и политических отношений. Вильнюс, 1993. С. 8.

<sup>9</sup> Любопытно замечание на сей счет историка: “Смутное время представляется нам не столько нашествием Польши на Москву, сколько нашествием Западной Руси на Русь Восточную, т. е., в сущности, движение братоубийственное. (...) При всей своей едино-племенности и единоверии западноруссы [= белорусы. — А.К.] в то время настолько уже разошлись с восточнорусами, что последние с трудом признавали в них своих братьев и, естественно, называли их не Русью, а Литвою или даже поляками, польскими или литовскими людьми. Западноруссы уже довольно резко отличались от московских людей своею особою, а также своею... белорусской речью и самою наружностью” (Иловайский Д. Смутное время Московского государства. М., 1894. С. 269).

<sup>10</sup> Скатов Н. Пушкин: “Государственные мысли историка” // Наш современник. 1998. № 11–12. С. 267.

<sup>11</sup> Купешов В. И. Пушкин: Научно-художественная биография. М., 1997. С. 376.

<sup>12</sup> Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848) // РГАЛИ. Ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1111, л. 35. об.

<sup>13</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1965. Т. 10. С. 335–336 (перевод с франц. С. 833–834).

<sup>14</sup> Подобным стереотипом, с неожиданным “антилитвинским” зарядом, поразили недавно читателей, более-менее сведущих в истории Беларуси, два московских профессора—“анатома” из Белорусского (!) отдела Института стран СНГ: “Начиная с XIV века вся история Белой Руси — это поистине героическая борьба народа за свою рускость [разумеется в “великорусском” понимании. — А. К.]. Борьба не только с иностранным (?) господством Речи Посполитой [т. е. борьба против самих себя. — А. К.], но и с национальной, “литвинской” про-западной элитой” (Сергеев Н., Фадеев А. Анатомия союза России и Белоруссии // Независи-

мая газ. 1998. 23 сент.). В свете процитированного выше “открытия”, пожалуй, теряет свою прежнюю странность, если не поразительную нелепость факт: почему в белорусской столице, где издавна с безропотным послушанием воспринимаются не только здравы советы, но и своеенравные чихи иных восточных мудрецов, до сих пор не поставлены памятники высо-чайшим национальным символам Беларуси — “литвинам” К. Калиновскому, страстному изобличителю и борцу с “неволей московской” и поэту А. Мицкевичу, который свои “мемориальные” права здесь безраздельно “уступил” А. Пушкину. Хотя автор “Евгения Онегина”, как помним, великолепно сочетал свою истинную русскую с писетом к мицкевичевской литовской. Но что и как бы там ни “анатомировали” иные спесы от лукавых “союзов”, современные белорусские патриоты не склонны к забвению своей многовековой “литвинской” традиции: “Нам необходимо помнить, что мы — потомки литвинов, продолжатели их патриотических деяний” (из обращения к белорусскому народу Национального общественного организационного комитета “Беларусь—2000 лет” // Народная воля. 1999. 25 мая).

<sup>15</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 328.

<sup>16</sup> Нарисы гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У 4 кн. Мн., 1993. Кн. 1. С. 322.

<sup>17</sup> Тарановский К. Пушкин и Мицкевич // Белградский Пушкинский сборник. Белград, 1937. С. 368: “Не следует ли предположить, что поэт “славянскими ручьями” назвал те русские племена, малорусские и белорусские, которые и сами в историческом развитии колебались между Россией и Польшей. Таким образом уясняется мысль, что без этих ручьев может иссякнуть русское море. Для Пушкина встает вопрос: если Польша отымет у России эти земли, не будет ли это началом падения великой Российской Империи?”

Похожим образом, но с иным конечным результатом подходил к вопросу Г. П. Федотов. Воздавая должное эстетическому совершенству неповторимого пушкинского синтеза “империи и свободы”, философ, тем не менее, считал имперские ориентиры неприемлемыми для будущего литературы: “Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, исказывающего ее духовный облик” (Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 327).

<sup>18</sup> Скатов Н. Указ. соч. С. 261.

<sup>19</sup> Равно как и вопрос украинский, не входящий в задачу данной статьи, но о созвучии которого с белорусским под светлой тенью Поэта нельзя не вспомнить: “И в будущем, если нам доведется отставать свою свободу, мы будем опираться на произведения Мицкевича, который думал не только о Польше и Литве, но и об Украине” (Павлычко Д. Правда від Адама // Літ. Україна. 1998. 3 груд.).

<sup>20</sup> См.: Открытое письмо народного поэта Беларуси Нила Гилевича к писателям России // Літ. і мастацтва. 1997. 3 студз.; Шушкевич С. Неправое дело левых // Народная воля. 1999. 1 крас.

<sup>21</sup> См.: Мамардашивили М. Необходимость себя: Доклады. Статьи. Философские заметки. М., 1956. С. 193.

<sup>22</sup> Тарановский К. Указ. соч. С. 377. Считаем также необходимым уточнить: порожденные конкретными политическими обстоятельствами идеино-психологические противостояния по-своему контрастируют, но вовсе не умаляют и уж во всяком случае не перечеркивают творческое схождение Мицкевича и Пушкина — этих двух недюжинных взаимодополняющихся личностей славянской и мировой культуры. И попытка представить русского поэта в роли заведомого антагониста его польского коллеги и даже — “душителя свободы народов”, с научной точки зрения более чем легковесна и не менее сомнительна — с моральной (см.: Блінкоўскі А. Ці мог А. Міцкевіч быць сябрам А. Пушкіна? // Наша слова. 1998. 8 ліп.).

**Васіль Жураўлёў (Мінск)**

## **ПУШКИНСКАЯ І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРНЫЯ ТРАДЫЦЫІ Ў ПОШУКУ ДЫЯЛОГУ З НАРОДАМ**

Пушкінская традыцыя, як і нацыянальная літаратурная класіка на кожным этапе жыцця выяўлялі свою нязменную энергію духоўнай маладосці і мудрай, прароцкай, настаўніцкай сілы. А. Пушкіна, Я. Коласа, Я. Купалу, М. Гарэцкага, М. Багдановіча мы з поўнай на тое падставай называем вялікім настаўнікамі ў галіне прыгожага пісьменства. Яны ж — і нашы самыя аўтарытэтныя дарадчыкі ў тонкай, далікатнай сферы маральных арыентаций.

Пры гэтым адразу хочацца заўважыць, што яркая святланосная сіла іх настаўніцтва самым цесным чынам узаемазвязаецца з іх няспыннай вучобай, самаадукцыяй, духоўным і маральным самаўдасканаленнем. Яны — вялікія прарокі-настаўнікі і адначасна — удумлівия, старанныя, руплівыя вучні, душа і разум якіх скіраваны на няспынную працу над самімі сабой і на шырокі, заглыблены, універсальна-панарамны дыялог з жыццём — сучаснасцю, мінуlyм, будучым. Прыйтym не будзе памылкай сказаць, што ў гэтай узаемаспалучанасці слоў “настаўнік – вучань” на першым, прынамсі — вонкава-тэкстуальным семантычным плане, у іх мастацкіх творах, тэарэтычных і публіцыстычных артыкулах знаходзіцца паняцце “вучань”, а павучальна-настаўніцкую ролю іх пісьменніцкае слова выяўляе звычайна ў асцярожнай, стрыманай танальнасці і, як правіла, рэзка асуджальная ставіцца да грубай і халоднай маралізатарской сілы.

Добры ўрок падае ў гэтым сэнсе слова Пушкіна як мастака, крытыка, грамадзяніна. Вось хоць бы такі прыклад. Нехта з сучаснікаў Пушкіна — Г. Лабанаў у прачытаным на літаратурна-філасофскую тэму дакладзе ў Імператарскай Расійскай акадэміі 18 студзеня 1836 г. дазволіў сабе шэраг несправядлівых ды яшчэ ў ментарскім тоне выказванняў пра творчасць вядомых літаратарапу тагачаснай Францыі. Такія размовы, дзе павучанне залішне моцна ўмешваецца ў ацэнчныя вызначэнні мастацкіх вартасцей літаратурнага твора, Пушкін наогул лічыў малапрадуктыўнымі, бо галоўнай мэтай мастацкасці (художества) з’яўляецца, на яго думку, “ідэал, а не павучанне”. Негатыўныя адносіны да вышэйшых форм духоўнасці і асновавторных прынцыпаў плённых традыцый кваліфіковалася ім як “першая прыкмета невуцтва і неразумнасці” (слабоумия). Шырока вядомымі з’яўляюцца і такія пушкінскія слова, выказаныя ў “Накідах артыкула аб рускай літаратуре”: “Павага да мінулага — вось рыса, якая адрознівае адку-

ванасць ад дзікунства”. На грунце выключна паважлівага і аналітычна-заглыбленага дыялогу з мінуўшчынай — прасеяным праз густое сіта гісторыі агульначалавечым вопытам — умацоўвала і ўзбагачала многія важныя эстэтычныя і проблематычныя аспекты і сама мастацкае слова Пушкіна.

Нешта падобнае можна сказаць і пра нашу нацыянальную літаратурную традыцыю, якая ў сваіх вяршынных дасягненнях нясе глыбока пераапрацаваны і трансфармаваны залаты скарб народнасці і вельмі глыбокую ўвагу і павагу да ўрокаў гістарычнай памяці. Глыбіня гэтага пачуцця ў некаторых наших пісьменнікаў, найперш у класікаў беларускай літаратуры Купалы, Коласа, Бядулі, Багдановіча, Гарэцкага часам бывае настолькі моцнай, што яго ўжо не ўтрымлівае нікая абалонка падтэксту, і тады яно вырываецца наверх, набываючы больш ці менш адкрытыя, а нярэдка і за-клікальна-публістычныя формы.

Да сённяшняга дня мы яшчэ, напрыклад, адчуваем немалыя цяжкасці ў інтэрпрэтацыі сімволіка-алегарычнай вобразнасці купалаўскай паэмы “Магіла льва”. Малады даследчык літаратуры Дз. Санюк схільны лічыць гэту паэму адным з самых складаных твораў у мастацкай спадчыне Купалы. І з ім варта, відаць, пагадзіцца. Вядома, на нейкі абсалютна поўны і завершаны варыянт вычарпанасці ў вывучэнні гэтага твора разлічваць не трэба. Літаратурная класіка ў сваіх стасунках з навуковай, даследчыцкай і проста чытацкай думкай з’яўляецца невычарпальняй. Гэта аксіяматычная ісціна. Але што б мы там ні казалі, кожны пісьменнік зацікаўлены ў tym, каб і вельмі складаная яго задума была зразумета і расшыфравана як най-паўнай. Таму ён, многае ўскладаючы на чытача, звычайна і сам прыкладае вялікія выслікі ў пошуку запаветнага ключыка, з дапамогай якога лягчэй адкрываліся б таямнічыя замкі галоўных проблем твора. Ёсць такі ключык і ў паэме Я. Купалы “Магіла льва” — гэта яе пачатак, прэмбула, першы раздзел, дзе аўтар кітча свайго чытача да нястомнай, вялікай і высакароднай мэты — далучэння да жыватворных народных крыніц думкі і пачуцця, узнаўлення перапыненых дыялагічных сувязей з бытым, а дакладней кажучы, з назапашаным ранейшымі пакаленнямі духоўным вопытам, каб лепей вызначыць перспектыву — “быт на новы лад пачаці і сеўбу новую пачаць”.

Гэтым ключыкам, як метадалагічным прынцыпам мастацкага пазнання жыцця, з поспехам карысталіся многія даследчыкі купалаўскай паэмы, і многае ім удалося расшыфраваць па-новаму і заглыблена ўбачыць праз “магічны крышталь” гістарычнай памяці, духоўнай спадчыны народа. Але ёсць тут над чым яшчэ і засяроджана падумашь, у прыватнасці, над tym, чаму гэта чалавек з харектарам прыроднай “бязмернай дабраты”, якой можна “шукати хіба толькі ў Бога”, становіцца тыранам, страшным “на ўвесе мір” разбойнікам, а просты люд, што напачатку з радасцю прыняў вестку пра смерць разбойніка і забойцы Машэкі, з цягам часу стаў забываць пра

гэта і пачаў яго ўзвялічацаць, гераізацаць: “Насып ссыпалі высокі — Машэку насып, як цару”.

Як нам уяўляеца, і гэтая няпростая, схаваная ў глыбокі падтэкст драматычна-трагедыйная праблема можа павярнуцца новымі, сугучнымі з аўтарскай задумай гранямі, калі зноў-такі дзеянні канкрэтнага чалавека, наядуны і патэнцыяльны запас яго духоўных магчымасцей па-філасофску цясней звязваецца і дыялагічна сувадносіць з высокай мерай патрабаванняў, ацэнак і маральна-этычных арыентаций, закладзеных у духоўных здабытках мінулага, пра што Я. Купала з відавочным акцэнтам пагадвае нам ва ўступным раздзеле паэмы “Магіла льва”. Але гэта тэма асобнай гаворкі, да якой мы маём намер вярнуцца ў бліжэйшы час.

А пакуль што заўважым, што наша нацыянальная, прынамсі, класічная літаратурная традыцыя ў вельмі шырокім дыяпазоне свайго праблемнага і жанрава-стылёвага руху нязменна і паслядоўна настроивалася на камертон реальных і патэнцыяльных духоўных здольнасцей шырокай народнай масы нават і тады, калі многім і многім з тых, хто складаў пераважную частку гэтай масы, не ставала належных ацэночных і аналітычных уяўленняў пра высокія ідеалы жыцця. І важнасць аналагічнай думкі, як і ў купалаўскай паэме “Магіла льва”, нярэдка зноў-такі падкрэсліваецца на самым пачатку іх твораў і звязваеца з вузлавымі пошукамі чалавекам сацыяльных, маральна-этычных і філасофскіх асноў “на зямлі”.

З такой думкі-ідэі пачынаецаць, напрыклад, выдатны эпічны твор нашай літаратуры — трывогія Я. Коласа “На ростанях”, і пад знакам яе разгортающеца тут усе важнейшыя сюжэтныя лініі. Галоўны герой названага твора, настаўнік Лабановіч, безумоўна не настолькі наіўны, каб не ведаць, што старая непісьменная палішчушка бабка Мар’я не зможа ў колькі-небудзь поўнай меры адказаць на тыя вечныя, анталагічныя пытанні, над разгадкай якіх біліся многія гады і стагоддзі вялікія розумы чалавецтва. Але адно з таких сваіх першых складаных філасофскіх пытанняў ён ставіць (і не з меркаванняў пустой цікавасці) іменна перад бабкай Мар’яй: “Скажы ты мне, бабка, чаго мы на свеце живем?” Лабановіч ставіць тут гэта пытанне, будучы перакананым, што літаральна кожны чалавек нясе ў сабе нейкую часцінку ісціны і што пра ўсё ведаюць толькі ўсе. Вось чаму, намацваючы шлях да пазнання “корана рэчаў” у чаканні мудрых і разумных кніг, у размовах і дыскусіях з сваімі лепшымі сябрамі, беларусамі-інтэлігентамі, ён знаходзіць, паводле слоў аўтара, цікавымі і карыснымі гутаркі “з простымі людзьмі, якія яшчэ так мала адышліся ад часоў першапачатковай людской культуры”.

Слухаючы нас, нехта можа заўважыць: не трэба, маўляў, абмінаць і яўна крытычныя, падкрэслена негатыўныя выказванні і меркаванні класікаў літаратуры — Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, А. Пушкіна, М. Лерман-тава і інш. пра духоўную няспеласць і сацыяльную пасіўнасць народа. Са-

праўды, абыходзіць такія моманты ў іх творчасці не варта, бо яны — рэальны факт іх літаратурнай біографіі.

Рэзка і востра-гранічна гучыць, у прыватнасці, асуджальна-крытычнаяnota ў вядомым вершы Я. Купалы “Прапор” (1912). Ды і цяжка заставацца тут абыякавым, нейтральным, індыферэнтна-сузіральным. Купалаўскі прапор перададзеў шмат цяжкасцей, перашкод, ідучы “з навукай новаю к людзям”, заклікаючы іх “у руки браць паходні, уставаць, ісці noch рассвятляць”, бо ўдалечыні бліснуў быццам бы сонечны промені надзеі. Здаецца, усё тут проста і зразумела: людзі нібыта павінны былі б з удзячнасцю адгукнуцца на покліч прапора. Дзеля іх жа шчасця і дабрабыту ён рупіцца. Аднак людская маса, псіхалогія якой заснавана на вузка прагматычным, прыземленым побытавым разліку, на высокія духоўныя парыванні прапора адклікаецца зусім па-іншаму:

А людзі, глянуўшы на сонца,  
Ў адказ казалі грамадой:  
— Па колькі ж нам дасі чырвоңцаў,  
Калі мы пойдзем за табой?

Не меней балочым было і самаадчуванне пушкінскага празарліуца, калі той, ідучы насустрач народу з высокім і чыстымі намерамі, часта мусіў спыняцца перад глухою сцяною абыякавасці і неразумення. Напэўна, у таякіх хвілінах цяжкіх перажыванняў і нараджаліся ў Пушкіна хоць бы такія вось, зусім не пахвальнія ў характеристыцы народа радкі:

Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич...  
К Чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич!

І не трэба нам асабліва выгароджваць Пушкіна там, дзе ён і сам сябе не выгароджвае. Некаторыя даследчыкі яго творчасці нібыта саромеюцца, стыдаюцца сказаць, што Пушкін мог дазволіць сабе зрабіць негатыўную заўвагу пра народ. Нават там, дзе вуснамі паэта зусім пэўна і недвусэнсоўна прамаўляеца слова “народ” і дзе яно, гэта слова, нясе прамы, адкрыта негатыўны ацэначны сэнс, звычайна падшукваліся агаворкі, уда-кладненні (асабліва ў працах савецкага часу) накшталт таго, што Пушкін у такіх выпадках меў на ўвазе толькі чэрнь, стыхійны неарганізаваны *натоўп* і г. д. Як быццам бы Пушкіну, геніяльному мастаку слова, не хапала лексічнага багацца рускай мовы, каб выказаць сваю думку!

У пушкінскіх творах, безумоўна, заўважаецца пэўнае размежаванне паміж паняццямі *народ*, чэрнь, *натоўп*. Але ніколькі не прыніжае, не кампраметуе Пушкіна і тое, што ў асобных выпадках ён дазваляе глянуць і ў цэлым на народ бесстароннім крытычным позіркам. Бо гэта не абыяка-

вы і пагардлівы погляд звысоку, а выяўленне балочай заклапочанасці пра яго, народны лёс. Прытым ні Пушкін, ні Лермантаў, ні Колас, ні Купала, ні Гарэцкі, ні Багдановіч ніколі і не імкнуліся надаць такім сваім, пераважна эмацыйным, крытычным меркаванням характар нейкай устойлівай і доўгатэрміновай стратэгічнай праграмы. Асноўныя грамадска-эстэтычныя клопаты іх знаходзіліся ў сферы пошукаў выхаду на шляхі цеснай і ўзаемазваротнай камунікатыўнай сувязі з народам.

Дастаткова прыгадаць хоць бы славуты пушкінскі верш “Я памятник возвдвиг себе нерукотворный...” (1836), напісаны на той стадыі духоўна-творчай эвалюцыі аўтара, калі ўсё раней зробленае ў літаратуры ён імкнуўся падагульняць, цвяроза ацінваць, а нешта сказанае ў эмацыйным за-пале маладосці і перагледзець, пераацаніць. Народны погляд, народная любоў для яго тут — самае што ні ёсьць дарагое, важнае і важкае. Ён спадзяеца, што да збудаванага ім нерукотворнага помніка дарога будзе вечнай, шматлюднай і ніколі не зарасце да яго “народная тропа”, бо непадкупная чалавекалобная думка паэта пра буджала пачуцці добрыя і ў жорсткі век усладуляла свабоду, заклікала быць літасцівым, чуйным да слабых, нямоглых, адрынутых грамадствам.

У разуменні Пушкіна высокая форма гуманістычнай духоўнасці з’яўляеца ўніверсальным і унікальным дыялагічным феноменам па сваёй прыродзе, і чым вышэй узіміаеца чалавек у сваім духоўна-інтэлектуальным і маральна-этычным развіцці, tym мацнейшы ў яго, на думку паэта, імунітэт да зла, маны, несправядлівасці (“гений и злодейство — две вещи несовместные”), tym глыбейшы і шырэйшы ў яго контакт з навакольным светам. Бо кожны, самы звычайны чалавек мысліцца і разглядаеца ў подобнай сістэме каштоўнасцей як непаўторная з’ява на зямлі і носьбіт нейкай толькі яму ўласцівой думкі-перажывання, можа, не такой ужо гранды-энзай і маштабнай, але і ў такіх сваіх сціплых адзнаках падчас цікавай і небескарыснай нават для геніяльнага розуму.

Глыбокае гучанне і глыбокі падтэкст набывае гэта ідэя ў адным з эпізодаў маленькай трагедыі Пушкіна “Моцарт і Сальеры”. Геніяльны Моцарт, напрыклад, з дзіцячай непасрэднасцю, пачуццём непадробленай радасці і спагады захапляеца ўсім, што звязана з музыкай, і ўсімі, чыя душа і сэрца хоць бы ў нейкай малой меры здольны ўлоўліваць і перадаваць чароўны гукапіс жыцця. Выпадкова сустрэўшыся калія карчмы сляпога музыку-самавука, які разыгрываў на прости лад папулярных мелодый складаныя арыі, ён не праходзіць безуважна, запрашае старога на кватэрну да Сальеры, каб “угостить... его искусством”. Моцарту здаеца дзіўным, незразумелым, чаму гэта Сальеры не радуеца, не смяеца, калі сляпы музыка спрабуе граць моцартайскую арыю з оперы “Дон Жуан”. Халодна-рацыяналістычны Сальеры, знайшоўшы, відаць, нейкія недакладнасці ў музыцы старога вулічнага скрыпача, у сваю чаргу таксама здзіўляеца і нават абу-

раецца. Але здзіўляеца з той прычыны, што геніяльны Моцарт знаходзіць тут для сябе нешта цікавае і займальна-павучальнае:

Нет!

Мне не смешно, когда маляр негодный  
Мне пачкает Мадонну Рафаэля.  
Мне не смешно, когда фигляр презренный  
Пародией бесчестит Алигьери.  
Пошел, старик.

А вытурыўши з хаты скрыпача-самавука, ён працягвае чытаць натацыю і па-шкалярску дакарае, павучае Моцарта:

Ты с этим шел ко мне  
И мог остановиться у трактира  
И слушать скрипача слепого! — Боже!  
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Не будзем праводзіць тут залішне прамыя паралелі паміж гэтай думкай Пушкіна і выказваннямі некаторых сёняшніх маладых (ды і не толькі маладых) пісьменнікаў, крытыкаў, публіцыстаў, якіх мы, вядома не маем падстаў папракнуть у няшчырасці іх адраджэнцкіх памкненняў, але не можам і не заўважыць, што ў асobных сваіх пагардліва-негатыўных выказваннях і меркаваннях пра народ яны нечым нагадваюць нам пушкінскага Сальгера. Спашлемся толькі на адзін маленькі, але ў чымсьці і характэрны прыклад — слова крытыка і празаіка С. Дубайца: “Народ, — гаворыць ён, — гэта вецер папулісцкіх прамоваў і нічога больш... Народ — гэта маса адзінак, якую не аб’ядноўвае нічога, акрамя агульных безумоўных рэфлексаў і відавочнага падабенства. Прынцыпова народ нічым не адрозніваецца ад чародаў рыб або птушак, ад шумлівага бору або акіяну, ад горных хрыбтоў або ветру. Народ не толькі нічога не вырашае, але *нічога і не стварае* [курсій мой. — В. Ж.]. Бо стварэнне не ўваходзіць у функцыі гэтых людзей, якія сабраліся ля прыпынкаў у чаканні сваіх трапейбусаў”.

Падобныя прыклады можна было бы доўжыць. Аднак ісціна гэта, як кажуць, агульнавядомая, і наводзіць, асацыятыўна звязваючыся з тэмай нашай гаворкі, на сур’ённае і даволі-такі сумнае пытанне: “А ці дазволілі б сказаць такое пра свой народ у цяперашній складанай жыццёвой сітуацыі А. Пушкін, Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, М. Гарэцкі і іншыя выдатныя пісьменнікі і глыбокія мысліцелі? Паверыць у гэта цяжка. Ды і немагчыма. Бо яны тонка адчуvalі розніцу паміж сапраўднай крытыкай, шчыра зацікаўленай, каб знайсці дзейныя спосабы змагання з негатыўнымі з’явамі жыцця, і крытыканствам, больш схільным да халодна-насмешлівай канстатациі фактаў і пошуку слоў і выразаў, каб больш балоча “ўкусіць”. А калі іншы раз ім усё ж і цяжкавата было ўтрымаць сваё пісьменніцкае (найчасцей паэтычнае) слова ад выбуховых крытычна-рэзкіх усплескаў, то звычайна тут жа, побач, нярэдка ў адным і тым жа творы ці ў іншым

месцы яны імкнуліся рашуча і недвухсэнсоўна адмежавацца, дыстанцыравацца ад усяго таго, што магло быць кімсьці зразумета як пагардлівае, зневажальная ацэнчнае стаўленне да асобнага чалавека, а тым болей да народа ў цэлым.

Паказальнай у дадзеным выпадку з'яўляецца інтэрпрэтацыя дадзенага пытання ў вершы М. Багдановіча “Народ, Беларускі народ...” (1913). Паэт зусім не ўсцешаны, а, дакладней кажучы, вельмі засмучаны tym, што яго родны народ — “цёмны, сляпы, быщам крот”. Праўда, тут нібыта народ і не вінаваты. Дужа зачята і жорстка ціснулі на яго моцныя і недружалюбныя вонкавыя сілы — “усяды пагарджалі” ім, “не пушчалі з ярма”, абкрадвалі душу, адбіralі права на карыстаннне роднай мовай. Але спачувальна-клопатны голас аўтара неўпрыкмет пераходзіць на крытычную (хочь і мяккую, незласлівую) танальнасць, калі той жа прыгнечаны і духоўна арабаваны народ выяўляе неапраўданую пасіўнасць і залішнюю цярпімасць, лагоднасць і талерантнасць у дачыненні да сваіх адвечных крыўдзіцеляў: там, дзе трэба голасна крычаць на ўсе грудзі “Ратуйце!”, ён укленчана “Дзякую!” крычыць.

Нягледзячы, аднак, на ўсё гэта, у самім словазлучэнні “Беларускі Народ” першае і другое слова М. Багдановіч напісаў з вялікай літары. I, безумоўна, нездарма. Ён хоча падкрэсліць tym самым, што ні на каго-небудзь, а менавіта на гэты затурканы, пакуль што яшчэ духоўна індывіферэнтны і аслаблены ў сваіх нацыянальных пачуццях народ ён ускладае свае вялікія надзеі і звязвае з ім будучы лёс Бацькаўшчыны. Іншай альтэрнатывы паэт не бачыць. Толькі не трэба, як сцвярджае М. Багдановіч у вершы “Песня-ру” (1910), спадзявацца тут па лёгкі і хуткі поспех, таму што “у грудзях у людзей сэрцы цвёрдыя, быщам з камення”, і слабасільнае мастацтва слова ніколі не здолее разварушыць іх і бясплодна кане ў Лету, “не збудзіўшы святога сумлення” — дакладнага і тонкага распазнавальніка пазітыўнага і негатыўнага ў жыцці.

Народны крытэрый сумленнасці з'яўляецца выключна важнай мерай ацэнкі чалавечых дзеянняў і ва ўсіх важнейшых творах А. Пушкіна. Правамерна будзе нават сказаць, што яго мастацтва слова сталела, набірала моцы, уваходзіла ў сферу дзівоснай гармоніі і філософскай глыбіні, паўнай і паўнай убіраючы ў сябе думку пра народ як ключавую грамадскую сілу гісторыі. Ніякая вялікая і сур'ёзная ідэя жыцця, паводле пушкінскіх меркаванняў, не можа паўнакроўна і грунтоўна выявіцца і рэалізавацца, калі яна ў чымсьці супярэчыць народным уяўленням пра добро і зло. Нават тады, калі народ маўчиць, “безмолствуе” і не ўсё дакладна разумее і ўсведамляе, што робіцца за яго спіной, ён, як лічыць Пушкін, і ў такім выпадку застаецца магутнай сілай, хоць сіла гэта можа быць хаатычнай, стыхійна-імпульсіўнай, непрадоказальнай у сваіх дзеяннях і не дужа разборлівай у сваіх рашэннях.

У памкненні да такіх стыхійных і гвалтоўных дзеянняў мы бачым, напрыклад, народ, які, паводле шматзначнай заўвагі аўтара, “*несёться толпою*” і выкрыкае слова “вязаць”, “тапіць”, “біць” у трагедыі “Барыс Гадуноў”. Гэту не вельмі прасветленую ўзважанай і цярпіва-гуманістычнай думкай энергію народа, які “несёться толпою” па вуліцах старой разгневанай Масквы, і намагающа выкарыстаць у сваіх інтэрэсах высокапастаўленыя прывілеівания асобы — князі і баяры. Усе грамадскія сілы і плыні, як заўважае адзін з іх, баярын-здраднік, нішто ў параўнанні з сілай народнага гневу або народнай сімпатыі, герой заклікае таго, хто яшчэ хістаецца, тэрмінова настроіцца на хвалю гэтай сілы, каб падпарадкаваць яе здзяйсненню сваіх планаў:

Перед тобой не стану я лукавіть,  
Но знаешь ли, чэм мы сильны, Басманов?  
Не войском, нет, не польскою помогой,  
А мнением — да! мнением народным.

Галоўны герой аднайменнай пушкінскай трагедыі цар Барыс Гадуноў у засяроджаным роздуме аб сваім непрацяглым цараванні з жalem мусіць канстатаваць, што заручыцца “мнением народным” нярэдка бывае вельмі і вельмі цяжка нават тады, калі наступтрач народу нехта спрабуе ісці з сямімі добрымі намерамі. Такі сумны вывод ён робіць, зыходзячы з уласнага дзяянні і народную рэакцыю на гэта:

Бог насыпал на землю нашу глад,  
Народ завыл, в мученьях погибая;  
Я отворил им житницы, я злато  
Рассыпал им, я им сыскал работы —  
Они ж меня, беснуясь, проклинали!  
Пожарный огнь их домы истребил,  
Я выстроил им новые жилища.  
Они ж меня пожаром упрекали!

Пад такімі сваімі разважаннямі ён нават спрабуе падвесці абагульняющую рысу:

Мне счастья нет. Я думал свой народ  
В довольствии, во славе успокоить,  
Щедротами любовь его снискать —  
Но отложил пустое попеченье:  
Живая власть для черни ненавистна,  
Они любить умеют только мертвых.

Аднак мы зрабілі б вялікую памылку, каб палічылі гэта выказванне канчатковым вывадам. І сам аўтар не хацеў, каб яго чытач думаў так. Ён паказвае цара Барыса Гадунова ў шэррагу сітуацый, якія вымагаюць ад чалавека ўзняцца вышэй эмоцый і быць максімальна цвярозым, узважаным і дакладным у выбары слоў, дзеянняў і рашэнняў. У гэтым сэнсе кульмина-

цыйным момантам у пушкінскай трагедыі з'яўляеца перадсмяротная размова галоўнага героя са сваім юнаком-сынам, які ў неспакойны і трывожны для краіны час павінен быў узяць у свае рукі скіпетр царскай улады. І тут ужо Барыс Гадуноў не дазваляе ўжыць ніводнага слова, якое неслаба б негатыўную ацэнку народа. Наадварот, ён дае строгую параду сыну быць у адносінах да простага люду цвёрдым, строгім, але ў той час літасцівым, справядлівым, раіць выбраць у дапамогу сабе “советника … надежнага, холодных зрэлых лет, любимого народом”. У той час, калі ў героя застаецца вельмі абмежаваная магчымасць сказаць пра самае галоўнае і неадкладнае, ён і гаворыць гэта, звяртаючы ўвагу на тое, што планы і намеры вярхоўнай дзяржавы асобы павінны шукаць і знаходзіць сабе падтрымку ў сустрэчным духоўным водгуку народа. Тут, як можна заўважыць, адбываецца сур’ёзная карэктроўка героем сябе ранейшага, схільнага неадказненіваць сілу народнай духоўнасці і маралі.

Цар Барыс Гадуноў, вядома, не з'яўляеца нейкім дабраком і не хоча штучна прыкідвацца ім. Ён — самадзержац і ў любым выпадку лічыць найпершай задачай манарха тримаць у цвёрдых руках “державные бразды”. Аднак герой пушкінскай трагедыі, цвяроза ўзважваючы сацыяльна-гістарычную рэальнасць, глубока ўсведамляе, што і самадзяржаўная царская ўлада, фармальна не абмежаваная ў той час ніякімі канстытуцыйнымі нормамі, аб’ектыўна ў вельмі многім залежала ад таго, наколькі яе падтрымае або не падтрымае народ. Вось чаму марнай надзеяй цешыць сябе, як вынікае з твора, тая лжэасоба, што з дапамогай розных здраднікаў і двурушнікаў разлічвае на працяглы тэрмін сцвердзіць сябе на царскім троне. Бо на заклік вітаць гэтую лжэасобу народ адказвае маўчаннем, ён “в ужасе молчит”, “безмолвствует”, хоць у любы момант, паводле меркаванняў аўтара, яго энергія можа выліцца як у формы разумных дзеянняў, так і ў не кантралюемыя цвярозым разумам стыхінасць, помсту і разбурэнне.

Пушкіна, як вядома, вельмі непакоіла магчымая небяспека таго, каб такі злосны, помслівы, “обуянный силой черной человек” раптам не паспрабаваў змагацца за права свайго індывідуальнага жыццёвага выбару адпаведнымі яго імпульсіўнаму ірацыянальнаму настрою спосабамі і не стаў не-кіруемай часткай стыхінага і бунтоўнага ў сваіх памкненнях і дзеяннях натоўпу, здольнага пайсці на ўсё — на бессэнсоўныя разбурэнні і крывавыя злачынствы. Ён лічыць, што ў змаганні чалавека за свой індывідуальны выбар першынстваўца павінна не чорная сіла нянявісці і злосці, не стыхійная непрадоказальная энергія, а тая праява яго духоўнасці, галоўнымі прыкметамі якой заўжды былі відущая, праніклівая, скіраваная на пошук ісціны і справядлівасці думка і гуманістычнае пачуццё. На гэтых шляхах пушкінская і нацыянальная літаратурная традыцыя пабуджалі сваіх герояў нястомні шукаць і самую высокую духоўную каштоўнасць на зямлі — Свабоду.

**Iгар Пушкін (Магілёў)**

## **ПА ДАРОЗЕ Ў ССЫЛКУ**

У сямідзесятых гады мінулага стагоддзя ў Расіі пачала ўздымацца моцная хвала цікаласці да творчасці і асобы А. Пушкіна. У тыя гады ў друку з'яўляецца вялікая колькасць артыкулаў, успамінаў пра паэта, ствараюцца падрабязныя яго біяграфіі.

Якраз тады з'яўляюцца і успаміны аб знаходжанні А. Пушкіна ў Магілёве. Трэба адзначыць, што паэт наведаў горад двойчы. Першы раз у 1820 г., калі накіроўваўся з Пецярбурга ў Кішынёў. Другі раз шлях Пушкіна ляжаў у Міхайлаўске, пад нагляд паліцыі.

Аб першым візіце ў Магілёў успамінаў не захавалася. Аб апошнім на-ведванні існуюць успаміны сведкаў гэтай падзеі А. Куцынскага і А. Распопава, якія ў той час служылі ў Лубенскім палку, што быў раскватараваны ў Магілёве.

Абодва аўтары ў чымсьці супярэчаць адзін аднаму, называюць розныя даты і маршруты шпацыравання паэта па горадзе, але, з другога боку, павярджаюць і дапаўняюць адзін аднаго. Гэта выкліканы тым, што успаміны былі напісаны і пабачылі свет амаль праз пяцьдзесят год пасля падзеі. Так, А. Распопаў, маючы 73 гады, надрукаваў свае мемуары ў 1876 г. у часопісе “Русский архив”.

Куцынскі згадваў (тут яго падтрымліваў і Распопаў), што магілёўцы адразу звярнулі ўвагу на Пушкіна, які хадзіў па горадзе, апрануты ў рускую кашулю і боты, на плечы быў накінуты вайсковы шынель, на галаве — ярмолка. Побач з ім звычайна шпацыраваў слуга, апрануты турчанём. Такі выгляд быў экзатычным для Магілёва тых гадоў, які яшчэ жыў успамінамі аб Рэчы Паспалітай абодвух народаў і дзе большасць высакародных месцічаў-шляхты ведалі Міцкевіча, а не Пушкіна. Таму, убачыўшы экскэнтрычную асобу, назвалі яе проста: вар’ят.

Зусім іншай была рэакцыя часткі рускіх афіцэраў мясцовага гарнізона. Даведаўшыся аб прыбыцці Аляксандра Пушкіна, яны падрыхтавалі паэту ўрачыстую сустрэчу. Адбылася гулянка, якая працягвалася да чатырох гадзін раніцы. У час яе Пушкін чытаў вершы, шмат якія з іх былі імправізацыяй.

Да сённяшніх дзён у Магілёве спрачаюцца, дзе ж знаходзіўся той балкон, з якога паэт быццам бы чытаў свае вершы магіляўчанам. У Магілёве нічога не захавалася ад паштовай станцыі, куды прыбыў Пушкін, няма і будынка губернскай паштовай канторы. Але частка будынка, якія захава-

ліся ад першай паловы XIX ст. у старой частцы Магілёва, могуць несці на сабе адбітак ценю вялікага рускага паэта.

Даследчыкі творчасці А. Пушкіна адзначаюць, што найбольш выдатныя творы паэта былі напісаны ў час або адразу пасля яго вандраванняў, — паэт з цяжкасцю пераносіў знаходжанне на адным месцы. У час вандровак Пушкін убіраў у сябе наваколле як уважлівы назіральнік, запамінаў тое, што бачыў. Яго падарожжа па Усходній Беларусі было важным і таму, што паэт ніколі не быў у Еўропе, а гэтыя землі ўсяго за 50–60 год да яго візіту развіваліся ў агульнаеўрапейскім рэчышчы і адчувалі на сабе ўплыў культурных і грамадскіх працэсаў Еўропы. Такім чынам, паэт меўмагчы-масць пабачыць і адчуць еўрапейскасць часоў сярэдневякоўя толькі ў га-радах Усходній Беларусі.

Шлях Пушкіна ў 1820 і 1824 гг. ляжаў праз беларускія гарады і мяс-тэчкі: Оршу, Шклоў, Гомель, Прапойск, Чачэрск, Быхаў, Буйнічы і інш. Ехаў паэт па так званых Кацярынінскіх трактах — дарогах, упараткованых па загаду Кацярыны II. Уздоўж дарогі ў 2–4 рады раслі бярозы, па баках пры-лягалі дарожкі для пешаходаў. Падарожнікі, у прыватнасці, пісьменнік В. Селіванаў, адзначаў, што дарога ў 20-я гг. XIX ст. з Орши да Магілёва была ў добрым стане. Праўда, калі Орши ў пасадках ля дарог яшчэ былі відаць прагаліны — гэта французы ў 1812 г. напалілі шмат бяроз уздоўж дарог.

Паэта натхняў краявід Беларусі, яе прырода. Беларусь багата лясамі, але на ўсходзе на той час пераважалі палі. Вакол — разнастайны жывёльны свет, птушкі, у рэках і азёрах поўна рыбы.

Безумоўна, А. Пушкіна ўразіла бедната мясцовых сялян. У вёсках пе-раважалі драўляныя сялянскія хаты, між іх было шмат курных, з нізкай столлю і без падлогі. Вылучаліся толькі месцы кампактнага пражывання “баяр” — дробнай, ці, па словах А. Дамбавецкага, “былой шляхты”, якая адрознівалася ад сялян толькі дагледжанай жывёлай і лепшым станам жытла. Аднак Пушкін, як і іншыя падарожнікі таго часу, мог адчуць улас-цівія беларусам рысы харектару. Бедната сялян, іх галечка, прыгнёт не ўплы-валі на іх высокую маральнасць. Ім уласціва была ціхасць, цярпівасць, працавітасць. Нават п’яныя, яны не ўчынялі злачынстваў. Падарожнікі пісалі: “У Беларусі можна было пакінуць на ноч воз пад голым небам, не баючыся, што яго абкрадуць мужыкі”.

Адчуў Пушкін і сакавітасць, трапінасць беларускай мовы. У 1822 г. пабачыла свет праца расійскага вучонага К. Калайдовіча “Пра беларус-кую гаворку”, якая ўяўляла сабой першую спробу навуковага даследаван-ня мовы беларусаў. У 1825 г. (на наступны год пасля вяртання ў Міхайлаў-скае) паэт піша сваю самую знакамітую трагедыю “Барыс Гадуноў”. З вус-наў чарнеца Варлаама гучаць беларускія прымаўкі і выслоўі. Чамусыці лічыцца, што гэтую слоўную “музыку” Пушкін пераняў ад свайго ўпраў-

ляючага. Але з такім жа поспехам можна выказаць меркаванне, што ў час свайго падарожжа паэт чую гэтыя выразы, запомніў і выкарыстаў у сваёй творчасці.

На жаль, на сённяшні дзень не знайдзены дзённік Пушкіна за 1824 г. Але на акварэлях М. Львова, І. Пешкі, Н. Орды мы маем магчымасць убачыць наш край вачыма А. Пушкіна. Маленъкая і бруднаватая Орша сваімі старымі мураванымі барочнымі будынкамі XVII–XVIII стст. магла выклікаць ў паэта думкі аб добрым калісці часе, бытой велічы.

Пушкін вядомы сваім дэмакратызмам, выступленнямі супраць самаўладдзя. Цалкам верагодна, свайго што роду “подпітку” такім поглядам ён мог атрымаць пры знаёмстве з выключнай сістэмай самакіравання, акрэсленай магдэбургскім правам — дэмакратычным ладам грамадства былых беларускіх зямель, які ў адначассе змяніўся жорсткай сістэмай самаўладдзя. Аб часах самакіравання нагадвалі ратушы ў Оршы, Шклове, Магілёве, Чачэрску і іншых гарадах.

Шклоў быў вядомы паэту як бытая сталіца раскошы і ўцех, цэнтр музаў. Але сустрэў яго як невялічка мястэчка, у якім захаваліся палац кацярынінскага генерала Зорыча, частка будынкаў кадэцкага корпуса, касцёл, ратуша. Па дарозе са Шклова, у Палыкавічах каля Магілёва, А. Пушкін мог паспрабаваць вады са славутай і тады і сёння мінеральнай крыніцы. Да яе збіралася шмат набожных, якія верылі ў гаючую сілу вады.

У 20-я гг. XIX ст. у Магілёве жыло 5675 мужчын і 5957 жанчын, меўліся 51 мураваны і 1506 драўляных дамоў, 18 цэркваў, 5 манастыроў, бернардзінскі кляштар, 4 касцёлы, 7 навучальных і 9 богаўгодных устаноў, 81 прадпрыемства, 260 крам, 150 піцейных дамоў, 8 лазняў і вялікая колькасць садоў. У горадзе шмат хто займаўся садаўніцтвам і агародніцтвам: вырошчвалі слівы, абрыкосы, яблыкі, груши, кавуны і г. д.

Магілёў на той час быў цэнтрам буйнейшай у свеце рыма-каталіцкай метраполіі, якая існавала з 1793 да 1914 г. і аўядноўвала касцёлы ад Магілёва да Сахаліна. У горадзе дзейнічала Магілёўская друкарня (1774–1844), якую заснаваў С. Богуш-Сестранцэвіч. У ёй карысталіся рускім грамадзянскім шрыфтом, што паклала пачатак грамадзянскаму кнігадрукаванню ў Беларусі.

У 1820 г. А. Пушкін трапіў у Магілёў праз Пакроўскі пасад, затым — Касцерня, па Багародзічнай вуліцы (Дваранская, Камсамольская) на Ветраную (Вялікая Садовая, Ленінская), затым на Паштовую (ципер — імя К. Лібкнекта) вуліцу. З Магілёва на поўдзень ён ехаў праз той жа Пакроўскі пасад, па Старачарнігаўскай вуліцы (Спартыўная, І. Чыгрына) да Чарнігаўской брамы (скрыжаванне сучасных вуліцы Астроўскага і праспекта Пушкіна, дзе стаіць помнік паэту) і далей — на поўдзень. У 1824 г. ён паўтарыў гэты шлях — толькі ў адваротным накірунку. Калі падымаліся тады на Касцерню, крыху збоку заставалася славутая сінагога, якую праз колькі

год распісаў дзед сусветна вядомага мастака М. Шагала. Дарэчы, у тыя гады ў Магілёве, дзякуючы мяжы аседласці, што існавала ў Расейскай імперыі, было шмат яўрэй. Яны жылі сваім кагальным ладам і, відаць, не звярнулі ніякай увагі на славутага паэта.

Дазволім сабе выказаць меркаванне, на што мог звярнуць увагу сам паэт, гуляючы па Магілёву. На цэнтральнай вуліцы горада ён мог зайсці ў Іосіфаўскі кафедральны сабор, адзін з першых помнікаў архітэктуры класіцызму ў Беларусі. Сабор быў пабудаваны ў гонар сустрэчы ў Магілёве ў 1780 г. двух манархаў: расейскай імператрыцы Кацярыны II і аўстрыйскага імператара Іосіфа II (знішчаны ў 1938 г., калі планавалі перанесці сталіцу БССР з Мінска ў Магілёў). Безумоўна, гэты будынак, увесь ансамбль саборнай плошчы маглі ўразіць Пушкіна. Ён мог зайсці ўнутр, тым больш калі ведаў, што абразы для сабора пісаў вядомы паэт мастак У. Барвікоўскі (ён жа, па пэўных звестках, выканаў фрэскі для царквы Нараджэння Багародзіцы ў Слаўгарадзе, у якой таксама мог быць Пушкін).

Аляксандр Сяргеевіч, безумоўна, заўважаў, што праваслаўныя храмы Магілёва непадобныя на аналагічныя ў цэнтральнай частцы Расіі. Магілёў знаходзіўся на скрыжаванні культур. Праваслаўныя цэрквы будаваліся тут у традыцыях візантыйскай школы, але пад уплывам заходнеўрапейскага мастацтва. У выніку склалася Магілёўская школа дойлідства. На сваім шляху паэт бачыў такія выдатныя ўзоры гэтай школы, як Пакроўскую, Успенскую цэрквы, Богаяўленскі сабор, ратушу і інш. Да сённяшніх дзён, на жаль, захаваўся толькі адзін з помнікаў, пабудаваных у гэтым стылі, — Мікалаеўская царква (XVII ст.).

Цікавасць Пушкіна да мясцовага праваслаўя магла быць выклікана і шырокай вядомай справай архіепіскапа магілёўскага Варлаама Шышацкага, які ў 1812 г. разам з большасцю кліра і вернікаў прысягнуў Напалеону.

Здаецца, невыпадкова ў 1835 г. , пасля таго, як у С.-Пецярбургу выйшли творы архіепіскапа магілёўскага Георгія Каніскага, Пушкін напісаў і апублікаваў у часопісе “Современник” рэцензію, у якой, высока ацэньваючы дзейнасць і творчую спадчыну архіепіскапа, назваў яго “самым достопамятным человеком XVIII столетия”. Верагодна, у Магілёве Аляксандр Сяргеевіч чуў аповеды аб гэтым унікальным чалавеку, які абараняў інтэрэсы праваслаўя на чале адзінай праваслаўнай епархіі ў Рэчы Паспалітай—Магілёўскай. Г. Каніскі звярнуў увагу Пушкіна і сваёй разнастайнай дзейнасцю як вучоны-гісторык і філософ, як асветнік, што адкрываў семінары і народныя школы, стварыў тэатр, для якога сам пісаў п'есы. Акрамя таго, што Пушкін мог чуць аповеды пра дзейнасць Каніскага, ён, магчыма, яшчэ зайшоў у адзін з найпрыгажэйшых сабораў горада — Спаскі, дзе ў праўым прыдзеле стаяла труна з няцленнымі мошчамі свяціцеля (гэта засведчылі французы ў 1812 г. і апошні расейскі імператар Мікалай II; у 1993 г. Г. Каніскі быў далучаны праваслаўнай царквой да ліку святых).

Мог Пушкін у 1820 г. завітаць і ў езуїцкі касцёл, пазней перароблены ў Ваккрасенскую царкву, — якраз у гэтым годзе імператар прыняў пастанову аб выгнанні езуітаў з Расіі (штосьці падобнае якраз адбывалася з пазэтам). Тым больш што сярод сяброў-дзекабрыстаў Пушкіна былі выхаванцы езуітаў. Шпацыруючы ўздоўж калегіума езуітаў, паэт не ведаў, што праз колькі год менавіта пад яго скляпеннямі будуть дапытваць блізкіх яму па духу людзей.

А. Пушкіна ўвесь час вабіла постаць і асобра Пятра I. Праезджаючы міма в. Лясная (Слаўгарадчына), ён мог згадаць пра бітву, якую Пётр называў “прообразом, матерью Полтавской битвы”. Паэт мог чуць шматлікія аповеды аб справах мінуўшчыны, якія перадаваліся людзьмі з вуснаў у вусны яшчэ да канца XIX ст.. Вандруючы па месцах баёў Паўночнай вайны, Аляксандр Сяргеевіч, безумоўна, атрымаў многа ўражанняў, якія потым выкарыстаў у сваёй працы. Побач з Рагачовам і Чачэрскам было тады шмат пасяленняў старавераў-раскольнікаў, якія таксама цікавілі А. Пушкіна.

Пачуў ён, відаць, на нешматлікіх прыпынках і аб так званых “разборах шляхты”. Пасля падзеі 1812 г., калі частка шляхты падтрымала Напалеона, іх маёнткі былі канфіскаваны і падараўваны расійскім дваранам. У адносінах да мясцовага насельніцтва, у тым ліку і дробнай шляхты, новыя гаспадары вельмі часта паводзілі сябе як захопнікі. Таму, на маю думку, не толькі шляхціц П. Астроўскі стаў правобразам Дуброўскага. Гэта мог быць збіральны вобраз.

Асобную гаворку можна весці і пра Баркулабава, Быхаў, Чачэрск з яго славутай вежай з гадзіннікам над уязной брамай, Гомель і іншыя мясціны, праз якія ляжаў шлях вялікага паэта.